

Мэри Метлицкая

— Рассказы разных лет —



Свои и чужие

Мария Метлицкая
Свои и чужие (сборник)

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Метлицкая М.

Свои и чужие (сборник) / М. Метлицкая — «Эксмо», 2017

ISBN 978-5-699-94220-6

Жизнь без близких людей невозможна. Даже если ты считаешь себя самостоятельным, самодостаточным и независимым человеком, все равно настанет момент, когда захочется поделиться, поплакаться, попросить совета. Да просто помолчать с тем, кто тебя понимает и принимает. Но как их найти – близких людей? И всегда ли те, кто близок по крови, близок по духу? Как разделить мир на своих и чужих? Есть ли идеальная формула? Мария Метлицкая не выводит этой формулы, у нее нет готовых рецептов и ответов на все вопросы. Она просто рассказывает истории – о тех, кто нашел родственную душу, о тех, кто еще в поиске, и о тех, кто по разным причинам обречен на одиночество.

УДК 821.161.32

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-94220-6

© Метлицкая М., 2017

© Эксмо, 2017

Содержание

Кровь не вода	6
А жизнь была совсем хорошая...	43
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Мария Метлицкая

Свои и чужие

© Метлицкая М., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Кровь не вода

Все сложилось удачно – просто на редкость. Два родных брата, Семен и Илья, родившиеся один за другим с разницей в полтора года, с первых дней жизни были неразлейвода. Ссор не было, скандалов и разборок – тем более. Родители не могли нарадоваться на своих дружных мальчишек: игрушки не делят, друг другу всегда уступают, стоят друг за дружку горой и каждый готов взять вину брата на себя. Жили скудно, как, впрочем, почти вся страна. Отец – инженер на заводе, мать – учительница труда в школе. Обычные люди, рядовая семья. И внешне вполне заурядные. В кого получились красавцы мальчишки? Загадка природы. Рослые, широкоплечие, темноглазые и черноволосые – загляденье и гордость родителей. Учились тоже вполне сносно – правда, старший, Семен, был стопроцентным гуманитарием, а младший, Илья, – технарем.

Женились рано и тоже почти одновременно – даже просто смешно! Как нарочно, – говорила мать Раиса Матвеевна. На втором курсе МАИ Илья привел в дом милую девочку, свою однокурсницу Галочку. Скромная Галочка по вкусу пришлась абсолютно всем – даже Семен, слегка огорченный этим известием (ревность, конечно, а что же еще?), от Галочки был в полном восторге.

Она и вправду была очень милой – тихой, воспитанной, скромной и, главное, сразу, с первой минуты, искренне полюбила родителей мужа, признав за свекровью непререкаемый авторитет и хозяйку.

Разместились так – в «задней» комнате, бывшей прежде родительской спальней, сделали «молодежный альков» – так острил новоиспеченный муж. Галочка при этом сильно краснела. А в большой, проходной, где раньше спали братья, теперь проживали мать с отцом и Семен.

Ничего, никто не ворчал – народ тогда был не так избалован, да и две комнаты в большой коммуналке на Петровских линиях, в самом центре, – разве так плохо?

А месяцев через семь в родительский дом явился Семен, держа за руку симпатичную высокую голубоглазую девушку, и представил ее своей невестой.

Девушку звали Наташей, но очень скоро она превратилась в Тусю и осталась ею навеки.

Квартирный вопрос стал острее – как разбираться, чтоб без обид? Девушки были без площади – Галочка из подмосковного Серпухова, а Наташенька, Туся, вообще из Свердловска.

За семейным ужином было принято мудрое и справедливое решение – в «алькове» спать поочередно. Два через два. Молодые смутились – самую малость, все посмеялись и на этом тему закрыли.

Туся и Галя сдружились сразу и навсегда. Единственное, что омрачало их дружбу, была небольшая, ну, самую малость, скрытая, невидимая борьба, нет, скорее соревнование, за любовь свекрови. Но та, умница, невесток не разделяла – хвалила обеих, подарки покупала равнозначные – Галочке синюю кофточку, Тусеньке – красную. И поровну говорила ласковые слова.

И любила их одинаково, потому что девочки были чудесные – так она с гордостью рассказывала про них знакомым и родственникам: «Как нам повезло!» И вправду повезло.

Альковные пересменки не заставили долго ждать последствий, и через несколько месяцев – так же дружно, как жили, – невестки объявили о своих беременностях.

С разницей в три месяца родились девочки, двоюродные сестры. Похожие на отцов и друг на друга, ну прямо сестры родные. Эмма и Элла.

Разумеется, жизнь стала труднее и суматошной: молодые мамы – студентки. Папаши – туда же. Места стало меньше, а шума, наоборот, больше. Младенцы исправно орали. Особенно старшая, Эмма. Дочь Ильи и Галины.

Но скандалов по-прежнему не было – воспитывать девочек стали дружно, подменяя друг друга, по очереди бегали на молочную кухню и выгуливали дочек на улице – никто в спор не вступал, все честно делили обязанности, не разделяя, кто брат, а кто сват.

Бабушка девочек работу, конечно, бросила и пришла на подмогу. Девочки жили так же дружно, как и их молодые родители, – просто не могли жить друг без друга. Только... Ссорились иногда – вернее, чем-то бывала недовольна строптивая Эмма. Но младшая, Элла, всегда уступала, и ссора заканчивалась, едва начавшись.

А спустя пять лет стали расселять коммуналку и давать квартиры. Это была и огромная радость, и большое расстройство – никто из них не представлял, как будут жить друг без друга.

Уехали в Новые Черемушки, тогда еще почти загород. Квартиры дали в соседних домах – однокомнатную родителям в доме напротив и по двухкомнатной молодым. В одном подъезде. Второй и третий этаж. Друг над другом.

Нет, это, конечно же, все-таки огромное счастье – и это счастье все ощутили почти моментально, в первый же день.

Было просторно, тихо и, главное, – все свое! И кухня, и ванная, и туалет. И спальня, конечно.

Бегали друг к другу в гости раз по пять на день – посмотреть, какую кушетку купили Илья с Галочкой. А польский журнальный столик и кресла на дистрофичных ногах достали Семен и Туся. А мама Рая (так звали свекровь обе невестки) напекла пирогов – и тут же все дружно бежали к родителям.

До смешного – квартиры, точнее, обстановка в квартирах, были почти одинаковые. Разумеется, дело тут было и в скудном ассортименте – поди достань что-нибудь эдакое!

И все же – занавески, не сговариваясь, купили одного тона. Кухонный гарнитур – тоже. А когда сошлись, как братья, сервизы – тут всем стало смешно.

Зайдя к брату, шутник Илья начинал растерянно оглядываться по сторонам.

– Я, братцы, вроде бы дома? А тогда почему Туська на кухне?

Девочки, конечно же, гуляли в одном дворе, играли попеременно в обеих квартирах – но Эмма любила больше «ходить в гости» к сестре – там интереснее и игрушки чужие! Свои она немного жалела. И в садик отправились вместе. Жизнь совсем наладилась, все были рядом и почти вместе, но у каждого был свой угол, и стало больше покоя. А так – да все оставалось почти на местах: все любили друг друга по-прежнему и всегда приходили на помощь. По первому зову.

В семьях царили лад и любовь. Родители старели, сыновья мужали, а внуки росли. И ничто не омрачало жизни – ничто серьезное и, не приведи господи, страшное.

Потом старики вышли на пенсию, стали прибалывать, а дружные снохи по очереди забегали прибраться, принести продукты и приготовить обед.

Приобщали девчонок – отнести бабуле с дедулей молока или хлеба, свежую газету или еще теплый яблочный пирог.

Элла бежала тут же, а Эмма начинала капризничать:

– Пусть идет Эллка. Ей ближе на целый этаж!

Братья трудились, понемногу поднимались по служебной лестнице, копили на автомобили и отпуска, в которые, разумеется, тоже ездили вместе.

Невестки все так же были дружны, да не просто дружны, а куда глубже и больше – считали друг друга сестрами. Конечно, родными. И правда, куда уж родней?

Эмма и Элла, проснувшись, начинали перестукиваться по батарее – у них даже был свой «язык», азбука Морзе: два стука коротких – быстро позавтракать и ко мне! Три: есть дела, и встретимся позже, к обеду. Ну а четыре: ох, все отменяется – например, едем в Серпухов к бабушке (Эмма) или на вокзал встречать свердловский утренний – передача от Тусиной мамы.

Разлуку – даже короткую – переживали.

Ну, и кто-то поспорит, что все сложилось удачно? Какие прекрасные семьи! Точнее, семья.

Семен получил дачный участок, и дачу строили вместе, общими силами, ни минуты не думая о том, что владельцем участка и дома являются старшие дети – как по-прежнему называли их старики.

Отпуск в то лето был отменен – все средства вкладывались в строительство дома. Жены не роптали и не канючили – понимали, что девочки будут на воздухе. Да и старики, разумеется, тоже.

Мечтали о походах в лес и на речку, о шашлыках и песнях под гитару, о яблоках из собственного сада и самоваре по вечерам – обычные мечты горожанина, возводящего свой нехитрый и милый дом. Дачу. Как жить в Москве и ее не иметь? Невозможно – умные люди уже понимали.

Так все и было в дальнейшем – дом наконец закончили. Сад посадили. И привезли девочек с бабушкой и дедушкой, вместе. Три комнатки внизу, на первом этаже – «девчачья» и родительская, общая, типа столовой-гостиной, и две малюсенькие спальни на втором этаже – метров по шесть. Галка с Ильей и Семен с Тусей. Все одинаково, и всем поровну.

Девочки, Эмма и Элла, дачную жизнь обожали – купание в речке, велосипеды, костры. И, разумеется, компании. Мальчики.

Никто ни разу не задал вопроса – родные ли сестры Эмма и Элла? Это было так очевидно, что и в голову бы не пришло усомниться. Они и вправду так были похожи между собой, что и сомнений не возникало – конечно, родные!

Худенькие, мелкие (в бабушку, в бабушку), узенькие, остролицые, черноглазые и буйно-кудрявые, точно из одного инкубатора, как шутили родители.

Дружили они по-прежнему, так плотно, так крепко, что жизнь друг без друга было сложно представить. Один сад, одна школа, одни каникулы на двоих. Одни бабушка с дедушкой.

Вот только характеры разные. Эмма, дочь Ильи и Галины, была явным лидером и заводилой. А Элла, сестра, подчинялась беспрекословно и, кажется, была из тех, кто получает от этого удовольствие.

Эмма, конечно, была побойчее во всем и порешительнее. Она с удовольствием руководила любыми процессами – будь то игра или детские шалости. Кстати, не всегда безобидные. Так, однажды, девочкам было лет восемь, Эмма предложила сестре «подушиться бабулиными духами». Духи с большой осторожностью были изъяты из бабулиной комнаты и, разумеется, оприходованы. Сестры поднялись на чердак и там открыли украденный флакончик. Не беда, что пузырек с драгоценной влагой упал и разбился, беда была в том, что у Эллы открылся жестокий приступ удушья – с той поры она и вошла в когорту отчаянных аллергиков.

Эмма испугалась, увидев, как сестра синее, хватая ртом воздух и падает без сознания.

Пару минут она раздумывала, распахнув окно и спустив с несчастной бретельки от сарафана, но ничего не изменилось – Элле становилось все хуже, она отчаянно хрипела и пыталась вызывать о помощи.

Эмма подхватила ее под мышки и стащила по лестнице вниз практически волоком – на большее сил не хватило.

Наконец обезумевшая от страха Эмма бросилась к взрослым. На счастье, в доме был димедрол, и Илья влил девочке ампулу в рот. Вызвали «Скорую», и, слава богу, тогда пронесло.

На чердак, где и были разлиты духи, взрослые не поднимались и продолжали пытаться девочек, что они съели или понюхали.

«Нам надо знать причину приступа! – зывали родители. – Что вы скрываете? Поймите, важно лишь то, что явилось причиной удушья!»

Было обещано, что ругать их не будут – ни-ни! Что поймут, что произошло все случайно и виноватых нет. Но сестры молчали. Молчала Эмма, опустив голову, и молчала несчастная Элла, поймав строгий, предупреждающий взгляд сестры: мы молчим, поняла? Смотри!

Увещевания, просьбы, требования и угрозы не помогли – девочки так же молчали.

Их уложили спать и собрали семейный совет. Что делать? Как узнать причину и почему они так боятся открыться?

Наутро они снова молчали, как партизанки перед врагами. И было принято решение сестер наказать. Что это значило в условиях дачи? Да многое! Речка и лес – под запретом. Вечерние костры на просеке тоже. Велосипеды – туда же. Даже любимые книги запрещены. Не говоря уже о телевизоре и кино в старом клубе. Разрешалось – только учебники, прополка клубники и помощь родителям по хозяйству. Все.

На какой срок? «Да пока вы не расколется», – объявил суровый Семен, невзирая на мольбы женщин и отца, дедушки, сидящего с валидолом.

А они молча выслушали суровый приговор, и Эмма кивнула:

– С чего начинать?

– В смысле? – не понял дядька.

– С прополки или со стирки носков?

Взрослые переглянулись, тяжело вздохнув, и разбрелись по делам.

Обнаружилось все через пару дней, когда Галочка поднялась за чем-то на пресловутый чердак.

Запах там стоял еще крепкий, и она сразу все поняла.

Теперь девиц терзали вопросами: «Почему украли? Почему побоялись сказать?»

С Эммой долго беседовали родители – по очереди и вместе. Объясняли, что жизнь любимой сестры была под угрозой. Пытались понять, почему – почему – они боялись открыться? Разве их били когда-нибудь? Разве сурово наказывали? Откуда эта ложь и этот страх?

– Страшно не то, что вы смогли украсть. Хотя это тоже ужасно. Страшно то, что твоя сестра могла умереть. Ты меня слышишь? – пытался достучаться до дочери Илья.

Эмма стояла молча и разглядывала свои сандалеты.

Наконец отец не выдержал, подошел к дочери и сильно встряхнул ее за плечи.

Она подняла на него лицо, посмотрела внимательно, с интересом и вовсе без страха и тихо произнесла:

– Попробуй только ударь!

Отец вздрогнул, мать заплакала, а Эмма вздохнула и вышла за дверь.

А вот родители Эллы впервые задумались. Точнее, перепуганная мать накручивала растерянного отца, справедливо обвиняя во всем племянницу.

Он молчал, а потом рявкнул:

– Да хватит! Я понял. Только ты не поняла, что *она* мне такая же дочь, как и Элла!

– Я понимаю! – шепотом, оглянувшись, словно боясь, что их услышат, ответила Туся. – Только... Только теперь я ее боюсь. Понимаешь? Не знаю, что можно от нее дальше ждать!

Расстроенный муж махнул рукой и вышел на крыльцо покурить.

Именно с того дня, хотя, казалось бы, все скоро было забыто, отношения между братьями и их женами изменились.

Был еще случай – девочки подобрали одноглазого бездомного котенка, плешивого и блохастого. Взять в дом котенка не разрешили – конечно же, в частности, из-за того, что пушистые животные были противопоказаны Элле.

Котенка было велено немедленно отнести обратно и категорически про него забыть.

Эмма ослушалась – котенка они пристроили к соседке, сердобольной бабуле, и бегали его мыть, чесать и кормить. Кончилось все блохами – и это, слава богу, была самая мелкая из возможных неприятностей.

Когда открылась и эта ложь, снова поднялся скандал. «Опять вранье и непослушание! Опять риск для здоровья Эллы! Как ты могла?» – все дружно орало на Эмму, а она, подняв свои невинные глаза, успела промолвить:

– А что, я одна? Я одна туда ходила и мыла его?

Тут к ней подлетел дядька и дал ей затрешину. Отец негодницы побледнел, а мать закричала:

– Не трогай ребенка!

Братья и их жены не разговаривали неделю. Между собой беседы сводились к тому, что надо разъехаться, потому что... Ну, все понятно!

Родители Эммы оправдывали ее, повторяя ее же слова: «А что, Элла совсем без мозгов?»

А родители Эллы уже стали прямо-таки бояться племянницы – с такой, как она... Словом, да все, что угодно!

Но лето подошло к концу, а до следующего было так далеко, что про разъезд думать пока не хотелось.

С дачи в тот год уезжали смурные, сконфуженные, потерянные. Все понимали, что их рай, их семейный очаг почти безвозвратно разрушен. И прошлых отношений, скорее всего, не вернуть.

А девочки по-прежнему дружили, ходили в один класс и вместе делали уроки – теперь было принято решение, что заниматься они будут у бабушки.

Элла школу не то чтобы любила – нет. Но уважала. Учителей, авторов учебников, классные часы и общественные задания. А Эмма – да ясно и так! Учителей критиковала, в учебниках быстро отыскивала казусы и ошибки, с классных часов сбегала, а общественные поручения игнорировала.

Была еще одна неприятная история в школе – группа отчаянных троечников и прикнущая к ним парочка заядлых двоечников и отставал решили уничтожить классный журнал. Почему-то в эту историю оказалась втянута Эмма. Почему-то именно она вызвалась вынести пресловутый журнал из здания школы.

Журнал она вынесла легко, а вот где спрятать – вопрос. Элла была не в курсе этой гнусной истории. Легкомысленная Эмма сунула журнал под кровать. Заметьте – под Эллину кровать, не под свою! Не специально, ни в коем случае. Просто пришла после школы к Элке – тетка в тот день напекла пирожков, ну, и сунула журнал под кровать. А потом про него и забыла.

Вечером Туся взялась подметать – тут-то пропажа и обнаружилась. Дома был страшный скандал – бедную Эмму пытали родители. Но при виде ее отчаяния и искренних слез до отца наконец дошло.

– А Эмма у нас сегодня была? – нахмурив лоб, спросил он.

Жена и дочь уставились на него.

– Да, а что? – спросила жена.

– А при чем тут Эмма? – удивилась Элла.

Мать и отец в одну и ту же секунду с тяжелым вздохом посмотрели на дочь и абсолютно синхронно покрутили указательными пальцами у виска.

– Да-а-а! – протянул Семен. – Ну ты, дочь моя... Просто нет слов!

А в восемь утра, несмотря на слезы и крики дочери, Семен, взяв под мышку журнал, отправился в школу. Прямо к директору – строгой и очень принципиальной Маргарите Петровне.

Элла взбежала на третий этаж.

– Эмка, спасайся! Они все узнали, и отец пошел в школу!

Эмма дрогнула, быстро кинула вещи в рюкзак и у двери обернулась.

– Я... спрячусь пока. Ну, пока все не утихнет.

Махнула рукой и быстро сбежала по лестнице.

– Где спрячешься? – выкрикнула сестра.

Но вопрос остался без ответа.

Дело раздули огромное – директриса орала, что Эмма будет отчислена. Потому что всем надоела!

Илья и Семен стояли в ее кабинете и предлагали все – ремонт в школе на общественных началах. Покупку кинопроектора в кабинет биологии. Новые шторы на первый этаж.

Директриса качала головой и молчала – видимо, прикидывала.

Потом вздохнула.

– Я знаю, у вас очень приличные семьи. Мне даже вас жаль. Но! Вы должны понимать, что совершено преступление. Украден серьезный документ. Украден с целью сожжения. Что делать мне? Подскажите. Я же должна на это *отреагировать!*

Тут в кабинет ворвались рыдающие мамы, и сердце Железной Марго не выдержало...

А вот Эмма пропала. Искали ее с милицией. Нашли к вечеру следующего дня – наконец кто-то сообразил поехать на дачу. Ворвались в дом, где Эмма безмятежно и крепко спала.

Была прощена, разумеется, – ребенок жив и здоров! А все остальное...

Только поздно вечером, перед сном, отец зашел к Элле.

– Ну, – спросил он, – ты хоть что-нибудь поняла?

Дочь отвернулась к стене.

– Зачем ты пошел в школу, папа? Зачем ты все обнародовал? Я ведь, – тут она всхлипнула, – я ведь могла его пронести обратно! Аккуратно! И положить в ящик стола. А ты? Ты все испортил!

Семен тяжело вздохнул и погладил ее по голове.

– Нет, – сказал он, – не поняла. Ничего ты не поняла, моя дорогая! Она ведь... совершила два ужасных поступка. Первое – украла журнал, а второе – то, что она предала тебя, любимую сестру! Не предупредив, просто подкинула тебе этот чертов журнал! А ты... – снова вздох, – а ты, Элка, опять все простила! И снова бросилась ее спасать и вытаскивать... Ох, детка! Как же непросто тебе будет жить!

Он поправил дочери одеяло, погасил ночник и вышел из комнаты.

На душе было очень погано. Так погано, что... Да что говорить! И еще – злость на Эллу. Даже больше, чем на племянницу. Такие дела.

Элла училась слабее сестры – чуть-чуть, но слабее. Эмме давалось все так легко и просто, что уже к классу седьмому она поняла – зубрить ей не нужно. Сочинения Эммы зачитывались вслух, контрольные по математике она сдавала первой, а стихотворения заучивала после второго прочтения.

Элле, чтобы не отстать от сестры, надо было стараться. Очень стараться и много трудиться.

Эмма звала ее во двор или в кино, а Элла, ненавидя весь мир, готовила уроки.

Она понимала, что если вдруг безнадежно отстанет от Эммы, для родителей это будет крах надежд и позор.

В девятом классе Эмма закурила, стала красить ресницы и кокетничать с мальчиками. У нее завязался роман – с самым ярким и красивым мальчиком школы. Девицы недоумевали – как некрасивая Эмма могла окрутить нашего принца?

Могла. Еще как! Боря ходил за ней по пятам, носил портфель и ждал по утрам у подъезда.

Эмма выскакивала из дома, стаскивала с головы вязаную шапку, распахивала пальто, кидала ему тощий портфель – зачем самой таскать эту тонну учебников? – и, прищурив узкие глаза, спрашивала:

– Ну? Куда? Предлагай!

Боря пожимал плечами и нараспев, чуть заикаясь, предлагал программу:

– Кино? Кафе-мороженое? Или в Сокольники? А может, в парк Горького?

Школу прогуливали нещадно, почти через день. А бедная Элла сестру прикрывала, врала, что та то болеет, то сидит с больной бабушкой.

В конце учебного года Эмма попалась. Боря от страха свалился с высокой температурой, боясь всего и сразу – учителей, своих родителей, родителей Эммы. Но больше всего – саму Эмму.

Эмма звонила ему и смеялась:

– Что, струсил? Ну, ты и гад, Борьчик! А я напишу на тебя. Боишься? Отправят тебя, милый, в колонию. Лет эдак на пять!

Обо всем этом кошмаре знала только сестра. На заднем дворе они, усевшись на ящик от марокканских апельсинов, обнявшись от страха, сидели по несколько часов, не зная, что делать.

Эмма закуривала и тут же бежала в кусты. Элла рыдала, словно это она залетела от Борьчика.

Потом рыдали вместе, и Элла повторяла один и тот же вопрос:

– Что делать, Эмка? Что делать? Нас же убьют. Растерзают. Просто порвут на куски!

– А при чем тут ты? – начинала смеяться Эмма, вытирая горячие слезы. – Ты-то тут при чем, дурочка?

Элла, нахмурившись, вдруг призналась сестре:

– Ты... только не смейся! Меня тоже... тошнит.

Эмма покрутила пальцем у виска и помотала головой:

– Ну, ты даешь, Элка! Совсем дура, что ли?

Наконец вопрос был решен – старшая сестра Борьчика, двадцатилетняя студентка-медичка, послушав брата, взялась помочь. Рано утром Элла и Эмма отправились к черту на кулички, в Медведково, в какую-то больницу, где их приняла пожилая врачиха. Она внимательно оглядела сестер, строго спросив:

– Обе?

Сестры дружно замотали головами, и Эмма, глубоко вздохнув, громко сказала:

– Я! – и сделала шаг вперед.

Врачиха кивнула – ей-то вообще все равно, – и повела ее через аварийную лестницу, грязную и заплыванную, усеянную окурками, в какую-то комнату, где велела раздеваться и ждать, бросив ей на колени огромный вытертый серый больничный халат.

Эмма разделась, села на табуретку и стала ждать. Ей было так холодно и так страшно, что захотелось сбежать. Она плакала, не вытирая слез, и они, сильные, мощные, как река, текли по ее щекам, ключицам и маленькой груди – горячими густыми ручейками.

Потом она вспоминала, что никогда больше так не ревела. Никогда! И ни при каких обстоятельствах.

Скоро за ней пришла нянечка, сунула в руки серую с дырками пеленку и зло бросила:

– Ступай за мной. – Но тут же вздохнула, словно пожалела девчонку, и добавила: – Горемыка!

Они шли по пустому, холодному и гулкому коридору, и нянька все бормотала, что от мужиков одни беды, а она такая тощая да сопливая, и туда же! Под поезд! Прямо чешется у вас там, у идиотов таких! Вот теперь и расхлебывай...

Потом был кабинетик, маленький, с замазанным белой краской окном, и та врачиха в перчатках и в маске – Эмма ее не сразу узнала.

Та вколола ей в вену укол, и последнее, что она слышала, было звяканье металлического инструмента и грубый окрик:

– А ну, раздвигай! Умеешь, небось? Или забыла?

Очнулась она от страшной боли внизу живота – болело так, что она громко, в голос застонала. Казалось, что там, внутри, кто-то продолжает кромсать ее железными ножницами – со злорадным упорством.

Она открыла глаза и увидела, что она в палате, на узкой койке, а на соседней спит толстая женщина – спит крепко и громко храпит.

Потом пришла врачиха, пощупала ей живот, положила на него пузырь со льдом, посмотрела на часы и сказала:

– Лежишь еще час. Потом встаешь и уходишь. Тем же путем. Деньги сейчас. Поняла?

Эмма вытащила из сумки двадцать пять рублей одной сиреневой бумажкой, сунула врачихе и, отвернувшись к стене, сказала:

– Спасибо.

– Рада была угодить, – усмехнулась та и ушла.

Через час Эмма оделась и медленно пошла по пустынному коридору на улицу.

Выйдя на задний двор, она увидела Эллу. Та сидела на перевернутом ящике и плакала. Увидев сестру, заревела сильнее.

А Эмма подошла к ней и спокойно сказала:

– Дай закурить!

Закурив, с усмешкой посмотрела на громко всхлипывающую сестру и спросила:

– А ты чего реवेशь, дурочка? Все уже позади. Поняла? Все уже *хорошо*!

Но до «хорошо» было как до луны. Уже в такси Эмма «промокла» – лило из нее как из ведра.

Элла испуганно умоляла вернуться в больницу. Эмма молчала и подкладывала под себя куртку.

Из машины выскочили и быстро побежали в подъезд – не дай бог шофер увидит, «как мы все загадили».

Отдыхались только в квартире – родители, слава богу, были на даче: пятница, вечер.

Эмма, постанывая, лежала в постели и покрикивала на испуганную сестру:

– Ну, и чего ты психуешь? Подумаешь – кровь! Все-таки операция, милая! Бескровных операций еще никогда не было.

К вечеру поднялась температура, и было уже очевидно, что нужно ехать в больницу.

Элла рыдала в голос и умоляла позвонить «хотя бы кому-нибудь».

– Кому? – железным голосом холодно осведомилась сестра. – Может быть, маме с отцом? Или бабуле? А, деду! Вот деду – давай!

Позвонили сестре горе-любownika. Та прибежала к приезду «Скорой», и ослабевшую Эмму наконец увезли.

Ну, а там все по схеме – повторная чистка и приговор: детей – никогда! Даже не думайте.

Всю ночь Элла просидела у постели сестры. Эмма, казалось, спокойно спала. Но была бледнее простыни и вздрагивала, постанывая во сне, словно ей снился кошмар.

Элла поила ее водой и снова тихо скулила. Под утро Эмма открыла глаза, спокойно оглядела сестру и спросила со вздохом и раздражением, широко зевнув:

– А-аа, ты? Снова реवेशь? Ну, а теперь-то что? Видишь – живая, – снова зевок, – не подохла! Ну... или – полуживая, – она усмехнулась.

– Эммочка, милая! – запричитала сестра. – Они ведь... сказали... что больше не будет детей!

Произнеся это, она с испугом уставилась на Эмму.

Та покачала головой:

– Ну ты и дура! Не будет? И что? Что? Жизнь закончилась?

Элла испуганно и часто замотала головой.

– Нет, что ты, что ты! Конечно же нет!

– Вот именно – к тому же... – Эмма помолчала и подняла глаза на сестру: – А знаешь, я их рожать и не собиралась. Вообще! Зачем это все? Лично мне – ни к чему. Одни проблемы и хлопоты. Ну вспомни родителей. И кому из них хорошо? А мы с тобой – еще не худшие из детей. Особенно, конечно же, ты, – и она засмеялась. – Я не пример, это точно!

– Не собиралась? – шепотом повторила ошарашенная Элла. – Вообще? Никогда?

Эмма кивнула.

– У тебя что, со слухом проблемы? – И повторила – четко и по слогам: – Во-о-бще! Никог-да! Поняла, наконец?

Элла кивнула.

Через неделю Эмму выписали, и все осталось шито-крыто – родители взяли тогда две недели отпуска и продолжали сидеть на даче – сентябрь, опята, да и вообще, бабье лето и «страшная красота». «А вы, дуры, не едете!»

К приезду родителей Эмма была уже в порядке и даже предъявила испеченный яблочный пирог:

– Ну я же соскучилась!

Элла, исполнительница пирога, была счастлива – все прошло гладко, никто ничего не узнал, а что до пирога – так она готова была испечь еще сотню, только бы... Только бы не открылся обман и бедная Эмма не обнаружила перед ними всю ложь. Всю эту дикую и страшную историю.

В институты поступали, конечно, разные – Эмма сразу прошла в МАИ, по стопам родителей: они настояли. А ей было все равно – абсолютно! Говорила, что лишь бы отстали – сама она вообще не пошла бы за «верхним», а пошла бы в актрисы, ха-ха, ну или в гримеры. На худой конец – так.

А бедная Элла корпела над учебниками, а вот по конкурсу не прошла – недобрала какую-то мелочь, полтора балла.

В доме был траур и «вселенская трагедь» – рыдали все: бабушка, мама и Элла. Крепился только отец, но и он страдал отчаянно – Эллка же такая умница! И такие дела!

Было решено, что Элла пойдет работать, ну а на следующий год...

Первого сентября Эмма, новоиспеченная студентка, в новом шикарном югославском брючном костюме красного цвета с золотыми пуговицами гордо стояла у входа в здание и покуривала тонкую черную заграничную сигаретку с ментолом. Настроение было прекрасное, самочувствие тоже – короче, вся жизнь впереди. А сколько еще сюрпризов в ней, в этой жизни!

На проходящих мимо парней смотрела с усмешкой, мгновенно ставя оценки – троечка, двоечка, ну-у... этот... Ладно! Тебе – четверка.

А грустная Элла плелась в детскую библиотеку Черемушкинского района – на работу. Младшим библиотекарем, график с девяти до шести и оклад шестьдесят пять рублей. Без копеек.

В библиотеке ей выделили место у двери, дуло ужасно, тут же заставили перебирать пыльные стеллажи в подвале и к четверем позвали пить чай – случайно вспомнив о ней.

Она сидела за своим столом, пила чай из чьей-то кружки с отбитым краем, закусывая печеньем «Юбилейное», которое крошилось на ее новую юбку.

За окном был серый двор с морозящим дождем, голуби на загаженном подоконнике и одинокая старуха, сидящая, словно в палатке, в огромном буром плаще и не замечавшая, казалось, дождя.

Элла тихонько плакала и тайком утирала слезу.

В те времена сестры общались, конечно же, реже – Эмма вертелась в шумном и веселом хороводе студенческой жизни, новые люди, тучи парней – институт-то технический, девок по пальцам. Ходили в кафе, в кино, собирались в пустующих квартирах и общежитиях.

Она звонила сестре – но так, коротенько, скорее для проформы, чем по зову сердца.

Элла грустила, канючила, что жизнь ее скучная и серая, работа тоскливая, тетки-сотрудницы пожилые сплетницы, почти все одинокие – изначально или разведены.

Вечерами она сидела дома, смотрела телевизор или читала. Настроение было паршивым – оно и понятно. С чего веселиться?

Она скучала по сестре, да и просто скучала. Молодая жизнь проносилась мимо нее, словно скорый поезд, без остановок – мимо, мимо! Ох, как обидно!

Эмма крутила романы, словно перелистывала страницы не очень увлекательной книги – быстрее, быстрее, так, здесь – совсем скучно, здесь – просто тоска, дальше, дальше – может быть, там?

Однокурсницы удивлялись – такая, казалось бы... ну, не то что невзрачная, но... До красотки – ох как далеко! А рядом-то были красотки!

Очень худая, сухая, жилистая, с густыми кудрявыми короткими черными волосами, небольшими, но яркими и очень живыми глазами – кошачьими, желто-зелеными, узкими, вспыхивающими внезапно, словно карманный фонарик в темном углу. И взгляд этих узких глаз – обдающий то теплом, то холодом. Острый и умный взгляд – она привораживала к себе.

К тому же умница, языкатая, остроумная, жесткая и колючая, ее оценки всего – людей, событий, поступков – были так точны, так остроумны и ярки, что возле нее всегда были люди, маленькая толпа поклонников и почитателей.

Она любила яркие, сочные тона – красное, фиолетовое, ярко-желтое, лимонное, оранжевое или салатное. Дешевые сережки из горного хрусталя сверкали в ее ушах ярче бриллиантов.

Преподаватели ее не любили, но при этом считались с ней и прислушивались к ее неординарным и неожиданным «выступлениям».

На вечерах она танцевала в самом центре, танцевала без усталости – и снова вокруг нее была толпа и поклонники.

Самые лучшие мальчики курса, да и других курсов, старших и даже выпускных, старались познакомиться с ней и если не «зароманиться», то хотя бы задружиться.

Многие из тех, с кем романы случались, потом становились ее друзьями – почему-то никто и не думал обидеться на коварную Мессалину, ей все прощалось легко и быстро.

На третьем курсе она наконец влюбилась. Ну и, конечно, все по сценарию – в преподавателя.

Евгений Аркадьевич Самоваров был самым красивым мужчиной на факультете. Импортантный – так про него говорили. Высокий брюнет с синими глазами и мягкой улыбкой.

В Самоварова были влюблены и студентки, и преподавательницы, и лаборантки, и уборщицы. И аспирантки, и библиотекарши – все!

Он был одинаково вежлив со всеми, галантен и в порочащих связях был не замечен.

Он был женат, и женат был давно – еще со студенчества. Имел уже взрослую дочь. Про жену его было известно мало – после института она не работала, воспитывала дочь и была жизнью довольна – никаких амбиций вообще. Говорили, что внешне она хорошенькая, но не более. Милая, чуть полноватая блондинка с голубыми глазами и пышными формами.

Самоваров был большим франтом – к зданию института ловко подкатывал на голубых «Жигулях», вылезал неспешно, с достоинством, с модным портфелем из черной замши. Вылезал и оглядывался – все ли заметили? Рубашки носил светлые, голубых оттенков, которые шли к его синим глазам и хорошо оттеняли густые, темные, красиво подстриженные волосы.

Девушки замирали, когда он, оставив после себя шлейф хорошего одеколона, проходил мимо, приветливо кивая знакомым. Он был и вправду хорош, этот Самоваров, – придраться практически не к чему.

Да и вообще – не к чему, что говорить!

Когда Эмма влюбилась в него, она снова почувствовала острую необходимость в сестре. Конечно, а кому еще она могла рассказать о своей неземной любви? Сокурсницам? Ну естественно, нет.

Это была ее тайна, а еще больше – страшная тайна преподавателя Самоварова.

Они с Эллой сидели в темном подвале кафе, и Эмма говорила горячо, без остановки, то и дело прикуривая одну сигарету от другой, и бесконечно пила черный несладкий кофе.

– Нет, ты только подумай, – взывала она к сестре, – полюбить человека по фамилии Самоваров! Разве можно было придумать подобную пошлость?

Элла тяжело вздыхала и беспомощно разводила руками.

– Ты понимаешь, – продолжала Эмма жарким шепотом, – он вообще *не мой вариант*, вообще! – тут она сделала «страшные» глаза. – Ну, сама посуди – во-первых, он преподаватель. В этом уже есть какая-то пошлость. Женат – во-вторых. И это снова огромная пошлость.

Элла послушно кивала.

– В-третьих, нарцисс. Понимаешь? Самый типичный, банальный нарцисс. Когда он проходит мимо зеркала, я боюсь рассмеяться. Он оглядывает себя с трех сторон! Лево, право и еще, обернувшись, слегка со спины! Он поминутно поправляет волосы! Можешь себе это представить? И у него в портфеле, *с собой*, есть любимый одеколон. Разумеется, Франция. Привозной, прямо оттуда. Пахнет, конечно, роскошно. Дальше – костюм. Тоже оттуда. Говорит, что привозит из Польши – нашим не доверяет. Рубашки, галстуки – все отменное, самое модное и только импорт. И еще – ну, ты сейчас упадешь. – Она наклонилась к сестре и прошептала: – Носки. Носки тоже оттуда! – Она откинулась на спинку стула и, ожидая эффекта, спросила: – Ну? И как тебе эта картинка?

– Ну-у-у! – протянула Элла, не понимая, что нужно ответить. Осудить? Восхититься?

– Да, – Эмма снова подалась вперед, – забыла. Белье! Совсем не то, что мы видели. Ну, у отцов, например. Сатиновые, до коленей, кошмары. А здесь... Эластичные трусики белого цвета, и так облегают!.. Ну, ты поняла...

Элла, конечно, не поняла, но кивнула. На всякий случай.

А сестра продолжала:

– Элка! Это вообще наваждение. Морок какой-то. Словно заколдовали. И меня, и его! Мы – как в горячке. Ничего не понимаем, никого не видим вокруг. Ничего не слышим. Ходим с воспаленными глазами, туманом в голове и шумом в ушах. У него – то же самое. Я спрашивала его. В голове только одно – чтобы стремительно, мгновенно оказаться на необитаемом острове и... рухнуть в объятия. Замереть на минуту и – снова туда! Ну, ты поняла... – со вздохом повторила она и надолго притихла.

Элла опять не поняла ничего, но снова кивнула – на всякий пожарный. Эти разговоры, откровения так будоражили ее душу и сердце, что после этих снова ставших такими частыми встреч она долго не могла уснуть и шла на работу с головной болью и сердечной тоской.

– Или вот! – оживлялась Эмма, припомнив что-то. – Вот, послушай. Мы ищем квартиры, любые углы, которые могут нас приютить и где мы... Ну, сама понимаешь. И нам всегда мало времени. Всегда! Хотя... Его и вправду катастрофически мало. Что там – час или два? Или даже четыре? Мне кажется, если бы нам отпустили год или два – мы не смогли бы наесться всем *этим!* Он говорит, что я – дикая кошка и что у него ничего подобного не было. Опять пошлость, да? Вот именно – пошлость! Но я все принимаю. Все от него принимаю и со всем соглашаюсь. И у меня тоже ничего подобного не было. Хотя это понятно. Все эти мальчишки с их пространными разговорами о смысле жизни, они всегда робеют, эти мальчишки. Всегда. И поэтому нагоняют пафоса и делают умный вид. А у самих – потные руки! Трусливые зайцы. Во всем! А он – взрослый, поживший мужик. Ему сорок два. И бабы, как ты понимаешь, были всегда.

– Он... всегда изменял? – осторожно спросила Элла. – В смысле – жене? Что, всегда?

Эмма уставилась на нее с удивлением.

– Да какая, собственно, разница? Ты вообще о чем? Это что, нас должно волновать? Да и потом – почему такой, как он, должен достаться одной?

– Ну, а потом? – робко осмелилась поинтересоваться Элла. – Что будет дальше?

– В смысле? – нахмурилась Эмма.

– Ну... – совсем растерялась сестра, – он... разведется?

Эмма равнодушно пожала плечами и повторила:

– Разведется? Да вряд ли, наверное... Там – дочь и жена. Его, я полагаю, все это устраивает. Привычка и прочее. Дом, общий круг. Родители. Общая жизнь. А я... я – это... Ну, как объяснить? Я – тоже жизнь, но другая. Тайная, яркая, полная страсти и чувств. Наверное, так.

Элла кивнула.

– Но... Нет, я все понимаю. И все же... Что дальше? Тебе... надо замуж, – наконец выпалила она, – семью...

– Скажи еще – детей! – недобро усмехнулась та. – Семейно? А зачем? Зачем все эти... – она помолчала, перебирая пальцами, – ну, эти штуки... семейные? Быт, носки и рубашки. Бигуди и крем на лице. Ночная сорочка и тапки. Завтрак и ужин. Котлеты и суп. В гости к родителям, грядки на даче. Все это – зачем? Нет, ты объясни. Приведи хоть какие-то доводы «за» против того, что я сказала!

Элла вздохнула, пожав плечами.

– Так... все живут. Бабушка с дедом, наши родители, их друзья и соседи. Разве не так? Так вроде бы надо.

– Так... Разумеется, так! Только я, – тут Эмма засмеялась, – я – это не все! Поняла? И все это «надо» лично мне *не надо* категорически! Да и потом – посмотри на наших. Давно грызутся, как мыши, раздражаются. Всегда недовольны друг другом. Пусть по пустякам, мелочам. Но... А ведь какая любовь была! Разве не так? Все просто устали – друг от друга устали. Быт заедает, проблемы. Болячки. Нехватка денег, рушатся планы, умирают желания.

– Ну, а одной? – осмелилась уточнить Элла. – Одной разве лучше? Решать проблемы, болеть? Встречать старость?

Эмма рассмеялась и махнула рукой:

– Где еще та старость? Вот именно – далеко-далеко. Вместе с болезнями. Пока до нее допоздем... Вся жизнь впереди – такая огромная. Долгая жизнь! Элка! Живем мы сейчас, а не завтра. Сейчас и сегодня! Любим, страдаем, мечтаем...

Элла кивнула и слабо улыбнулась.

– Ты, наверное, права. Только...

Сестра перебила:

– Знаешь, обойдемся без «только». Сегодня мы просто – *живем!*

«Счастливая Эмка, – думала Элла, – «просто живем»! Как четко и ясно. Действительно просто. А я... я так не умею. Просто жить и получать удовольствие. Вообще не умею получать удовольствие. И где они, эти удовольствия, я просто не знаю. И будут ли?»

За сестру она переживала – добром все это не кончится. Такие связи в конце концов... приносят одни страдания. Этот Самоваров семью не бросит, а вот Эмку – наверняка. Переговорит. Сухие дрова страстей горят ярче, сильнее, но и сгорают быстрее. И что будет с Эмкой?

Все знания были из книг – а уж там все про страсти написано! Больше, чем про все остальное. Про страсти и про страдания после этих самых страстей.

Но что поделать? Эмка всегда была своевольной. Всегда самой смелой и умной. И нет для нее авторитетов – нет и не было. Сами с усами. Кого и когда она слушала, наша бесшабашная Эмка?

А на душе было мутно. От беспокойства за Эмму и еще – за свою тоскливую жизнь.

Через два года Элла поступила в Институт культуры, на библиотечный, разумеется, факультет. А все мечты про журналистику, литературную деятельность канули в Лету. Рисковать больше не захотела, сколько можно ходить в абитуриентках? Пусть хоть так, чем никак.

В институте тоже была тоска – одни девицы, озабоченные только устройством своей личной жизни. Готовы были пойти за любого, но особенно ценились военные – зарплаты приличные, а в гарнизоне для библиотекаря всегда найдется работа. Для жены.

Эммин роман продолжался. Самоваров даже умудрился съездить с ней в Ригу на конференцию – на три дня. И Эмма говорила, что они «разрушили Ригу». Потом подвернулся Краснодар, а оттуда махнули в Сочи – на три ночи, как в песне поется.

– И Сочи разрушили? – осторожно спросила Элла.

Эмма удивилась подобной остроте и подмигнула.

– А ты как думала? Сочи в руинах!

Было странно – Эмма, худюшая, яркая, с горящими глазами и стремительная, стала почти красавицей – не зря говорят, мол, влюбленная женщина...

Она была похожа на кошку – гибкую, гладкую кошку, которую правильно кормили – только отборным мясом и рыбой. С блестящей, лоснящейся шерстью, с острыми, молодыми и опасными зубками.

Элла видела, как на сестру обращают внимание – в метро, в кафе и на улице.

Она гордилась сестрой – как всегда, немного завидовала ей, тоже, впрочем, как всегда. Восхищалась ею и по-прежнему бесконечно любила. Так, что отдать жизнь – пустяк!

А однажды задумалась – а любит ли ее Эмма? Ну, так же, как она ее? И тут же решила, что да. Разумеется. Только... слегка по-другому. Как умеет. Но жизнь за нее не отдаст.

Вот это – точно. На сто процентов. Категорически не отдаст. И правильно сделает. Эмма не дура.

Во время одного из своих откровений Эмма вдруг замолчала и потом, вздохнув, сказала: – Господи, и кому я про это рассказываю! Ты ж у нас девственница!

Элла покраснела, опустила глаза и ничего не ответила.

В тот год умер дедушка. В Сочи послали телеграмму. Эмма ответила, что билеты достать не смогли – самый сезон, вы о чем, родственники?

Илья прочел ответ дочери и, вздохнув, сказал:

– Врет. Все врёт. Как обычно. По таким телеграммами обеспечивают. Всегда. Это закон. Просто... не захотела свой отпуск ломать.

Все дружно вздохнули, но никаких комментариев.

Отношения с Самоваровым продолжались долго, лет восемь. За это время они много раз бурно расставались, рвали категорично и «навсегда», мучили друг друга с остервенением, упрекали, оскорбляли, но... все же держались друг друга.

Эмма давно работала в каком-то КБ, работу свою откровенно ненавидела, а вот коллектив хвалила – поэтому и держалась там. Коллектив был мужской, все вокруг пляшут и восхищаются, говорила она: «Ну, а когда я в фаворе, мне на все наплевать!»

Она стала еще суше, еще циничней и острее на язык. Она уже совсем не лестно говорила о своем любовнике, обвиняя его в малодушии, приспособленчестве и трусости – за столько лет ничего не решить! И это мужик?

А потом сообщила – так, между делом, что от Самоварова ушла. Точнее, бросила его. «Ну сколько же можно, Элка? Сколько лет на него угроблено – самых прекрасных! Сколько потрачено сил! И все – в никуда».

А спустя совсем немного, месяца два, Эмма сообщила, что выходит замуж. Ну? Каково?

Элла как-то видела его лет пятнадцать спустя – этого уже давно бывшего красавца, не сразу узнала и очень удивилась, признав наконец. Самоваров к тому времени ушел с кафедры, перебивался случайными заработками и выглядел потерянно и жалко. Углядела она его у мясного прилавка, где Самоваров просил взвесить ему кусок поменьше, «можно с костями».

Взволнованная Элла позвонила сестре, а та, громко позевывая, прокомментировала это так:

– Жалко? А что ты хотела? Жил человек в свое удовольствие. Ни с кем не считался. Получал все, что хотел. Вот и расплата – а что, справедливо.

– И тебе совсем его не жалко? – удивилась Элла.

Эмма снова зевнула.

– Не-а, нисколечко. Кто он мне теперь? Так, бывший знакомый.

Элла положила трубку и мысленно повторила, прикладывая эти слова к сестре: «Жил в свое удовольствие, ни с кем не считался, вот и расплата. А ты как хотела?»

Вот именно, расплата! Да что там считать чужие грехи. Эмма, по крайней мере, имела от своих прегрешений хотя бы... удовольствие, что называется! А я? И моя такая правильная и безгрешная жизнь? Коту под хвост, кобыле туда же.

Эммин муж родне представлен не был. «Много чести, – фыркнула она, – да и кому это надо?»

Через три года после смерти деда ушла и бабушка Рая. Жить «после мужа» ей совсем расхотелось. Собрали семейный совет – что делать со стариковской квартирой? Продать и поделить деньги?

Решили, что будут сдавать. Все подспорье уже немолодым отцам, получающим сущие копейки. Илья еще как-то держался в своей лаборатории, А вот институт Семена прикрыли – «за недостаточностью средств на содержание». Семен остался на улице. Помещение института было варварски раздроблено и сдано мелким фирмочкам. В те годы безработный Семен пошел работать курьером – развозил по домам лекарства. Денег было немного, но иногда давали на чай, да и времени свободного было навалом.

– Беру чаевые, – грустно шутил он, – дожил, старый дурак! Унизительно, а беру. Себя ненавижу, а в руки смотрю! А потом... сдохнуть охота.

Сложные были времена. Но на том семейном совете подала голос Эмма. Объявив, что выходит замуж, и она, именно она с мужем, переедут в квартиру бабули.

Кто-то попробовал возразить, кто-то предлагал «что-нибудь придумать, чтобы всем было хорошо». Но Эмма твердо сказала:

– Туда перееду я. Все, точка. Дебаты закончены. Вы что, обалдели? Так хоть одна из нас устроит личную жизнь!

Первым голос подал Семен, задумчиво сказав:

– А ведь детка права.

Все вздохнули и разошлись.

Свадьбы как таковой не было – Эмма плюс жених, плюс друг жениха, плюс Элла – вчетвером пошли в ресторан.

Увидев Эмминого жениха, Элла остолбенела – этот задохлик Шурик! После Самоварова, господи, даже нынешнего Самоварова! Жалкого и старого!

Шурик был и вправду смешным – маленького, почти крошечного роста, длиннорукий, как обезьяна, отчаянно кривоногий, подросткового веса, с прядями редких темных волос, прилипших к полупрозрачному темени, с «ленинским» лбом, пучеглазый, носатый и – очень веселый.

Он был похож и на гнома, и на диковинную птицу, и на старичка-лесовичка, и на сказочного волшебника (доброего или злого?). Но все же больше всего – на обезьяну. Правда, с очень умным лицом.

Эмма тут же дала ему кличку – примат.

Умный Шурик не обижался – в Эмму был страстно влюблен, а про себя все понимал.

Он был и жалкий, и несуразный, и смешной. Но взгляды он точно притягивал – любопытные и удивленные, что ли?

Было в нем что-то животное – внешность, ужимки. Все это было как-то... неприятно, но Элла гнала эти мысли, всегда помня фразу «лишь бы человек был хороший».

Веселиться он начал с порога, развлекая сестер анекдотами – «свежачком», как он говорил.

Балагурил он весь вечер, посмеиваясь и над невестой, и над «мероприятием», и над собой.

Он был довольно остроумным, скорее очень остроумным, но... Утомлял.

Ей-богу, здорово утомлял.

Пил он много и часто, не пьянел, но вдруг отключился и уснул, откинув голову назад и широко открыв широкий губастый рот.

Эмма резко встала со стула.

– Я в туалет. Ты со мной? – коротко бросила она сестре.
Смущенная Элла тут же поднялась и засемила следом.

У зеркала в туалете Эмма внимательно разглядывала себя. Потом долго и тщательно красила губы.

Наконец Элла не выдержала и почти выкрикнула:

– Боже мой, Эмка! Зачем тебе... все это нужно?

Эмма усмехнулась, поправляя волосы, и ответила:

– Замуж! Ты же первая говорила, что нужно замуж. Чтобы семья! Или я путаю?

Элла молчала.

– Так вот, – продолжила Эмма, – я иду *замуж*. А ты что, думаешь, у меня очередь под окном? Или я выбираю? Нет, дорогая! Мужиков, конечно, полно, – тут она снова вздохнула, – только вот... в загс никто не торопится. А этот готов. Да ты не волнуйся. Он же не всегда... балагурит. Он очень начитан, образован. Интеллектуал, каких мало. А после Самоварова, а? – который был серьезен только у зеркала. Да, кстати. Он из прекрасной семьи. Папаша адвокат и мамаша дохтур. Квартира огромная в центре, а там... добра! Мы с тобой такого не видели. Сплошной антиквариат. Люстры, мебель, полы. Да и вообще – я от противного. Самоваров и Шурик – по-моему, очень смешно!

– Не очень, – осмелилась вставить Элла, – по-моему, не смешно.

– И вообще, – Эмма прищурилась и посмотрела на сестру, – он мужик обалденный. Ты поняла, о чем я? Даже Самоварову фору даст, а? Как тебе? А знаешь, *какие* у него были бабы? У него, у такого уroda? Не знаешь. А были – сплошные красотки. Не мне чета, Элка. Поверь! Ну, как? – повторила она.

Элле было «никак». Точнее, это снова ее смутило, встревожило и расстроило.

Друг Шурика, вялый и белесый Вадим, все время ел и помалкивал. Он был похож на спящую, вчерашнего улова, огромную снулую рыбу – с полузакрытыми глазами и нечетким, методично жующим ртом.

Он был настолько индифферентен, что казалось, попал не на свадьбу лучшего друга, а так, случайно – ну, пригласили к столу, а он не отказался, зачем, если можно поесть?

Спящего Шурика тащили втроем – он почему-то оказался страшно тяжелым. Выгрузили у входной двери, внесли в квартиру и положили на бабулин диван.

Элла пошла домой, унося с собой все свои печали – в квартире любимых людей, на родном старом диване, лежит *это*, и теперь *это* будет тут жить!

Ей почему-то совершенно расхотелось в то время общаться с сестрой. А та и не настаивала. Почти не перезванивались, встречались пару раз случайно, у остановки. Пару фраз ни о чем и – разбегались в разные стороны.

В июне Элле выделили путевку в Одессу. Мама купила ей три летних платья, новый купальник и босоножки. Заставила сделать педикюр с ярким лаком и проводила на вокзал, бросив на прощанье странную, совсем не типичную для нее фразу:

– Ну, зайныка, ты там... не теряйся! Ты меня поняла?

Элла смутилась, покраснела и была очень рада, что объявили отправление поезда.

Комнату дали на двоих, в соседки попалась бойкая харьковчанка Людмила. Людмила тарыхтела без остановки – выяснилось, что она замужем, но детей не родила: «Муж шибко болен на эту тему». Мужик хороший, малописьющий и нежадный. Но и еще раз но – Людмила хотела родить. Сказала честно: «Я сюда за этим приехала».

Элла растерялась, почти испугалась – что там ждет впереди? Эта Людмила напомнила ей сестру – натиском, напором. Такие идут к своей цели прямолинейно и четко. И от планов своих не отказываются.

Но страхи оказались напрасны – соседка пойти «погулять на пару часов» не просила, возвращалась поздно, света не включала, со стуком сбрасывала босоножки, долго пила из графина воду и ложилась поверх одеяла. Долго не засыпала, вздыхала тяжело, ворочалась и успокаивалась только с рассветом.

А вместе с ней засыпала и Элла.

Город был прекрасен, но переполнен отдыхающими, на пляже было трудно отыскать свободное место, кормили отвратительно, а в магазинах продуктов не было вовсе. Элла хорошо загорела, и яркие, цветастые платья так шли ей, что она впервые застревала у зеркала с удовольствием, неведомым ранее.

А однажды к ней на скамейку подсел мужчина – внешности неяркой, заурядной, но приятной. Разговорились – о том о сем, о процедурах, питании – обычный разговор отдыхающих. Мужчина представился, сказал, что живет и работает в Калининграде. Женат и имеет двух дочерей.

Как-то сложилось, что после ужина он пригласил ее в кино, она, разумеется, пошла – без всякой задней мысли, просто от тоски и одиночества. В кино сходили, потом прогулялись по парку, посидели на скамеечке, болтая по-курортному, по-свойски.

Ну, так и повелось – Иван Александрович теперь опекал ее, занимал место в столовой и кинозале, угощал шоколадками и однажды принес букетик ночных фиалок – невзрачных, но пахших так, что кружилась голова.

Их первое и последнее интимное свидание случилось довольно скоро, день на седьмой после знакомства. Элла пошла на это намеренно, сильно робея, но любопытство было сильнее – что ж там такого, что так крутило и ломало Эммину жизнь? Да и пора, что говорить! «Очень пора» – и давно!

Ничего *такого* ей не открылось – во всяком случае, никаких потрясений и шока. Иван Александрович был нежен, заботлив, внимателен. А после того, что между ними произошло, с испугом уставился на Эллу и, потрясенный, спросил:

– Как же так? Я не понял. Ты... вы... еще... не того?

Элла ничего не ответила, вздохнула, кивнула и стала натягивать платье.

У двери она обернулась и вдруг рассмеялась:

– А что, вы сильно расстроились?

Он, бледный и потерянный, только махнул рукой и пожал плечом.

После этой истории Элла как-то вдруг успокоилась – ну, наконец все случилось. И ей будет *не стыдно* перед сестрой.

А ночью – ночью случился кошмар. В комнату влетела Людмила и, подбежав к Элле, уже почти блаженно уснувшей, стала бить ее босоножкой по спине и плечам, громко крича:

– Ах ты, стерва! Ах ты, гадина! Тихая такая! Коза драная! Я этого Ваню две недели пасу, а она... Нет, вы подумайте!

Элла накрылась с головой одеялом, увертываясь от тычков, и молила только об одном – чтобы не проснулись соседи и не разразился скандал. Боже, какой ужас! Какой позор!

Устав, Людмила рухнула на кровать и зарыдала.

Рано утром Элла тихонько собрала свои вещи, выскользнула в коридор, затем на улицу и взяла такси на вокзал.

«Бежать! – стучало у нее в голове. – Бежать, и все. Подальше от этого ужаса!»

Она бежала, унося с собой отчаянный позор, безмерный стыд, некоторое удовлетворение, освобождение, познание – и еще пока, разумеется, неопознанную беременность.

Когда все открылось, вернее, дошло до нее, она, конечно же, бросилась к сестре.

Эмма слушала ее не перебивая. С удовольствием затягиваясь, попивая любимый кофе и слегка усмехаясь.

Дослушав сестру, спокойно спросила:

– Так, ну, все хорошо. Что было – то было. Было – и слава богу! Но ты была у врача?

В смысле точного срока?

Элла замотала головой.

– Так неловко, знаешь. Будут спрашивать, замужем ли я. Ну, и вообще.

– При чем тут «вообще»? – разозлилась Эмма. – Я про то, чтобы не прозевать, поняла?

– Что не прозевать? – переспросила непонятливая Элла.

Эмма вздохнула.

– Господибожемой! Нет, ты и помрешь с психологией девственницы. Аборт не прозевать, идиотка!

– Почему аборт? – прошептала Элла. – Зачем? Я... буду... рожать.

Эмма уставилась на нее немигающим взглядом.

– Ро-жать? – повторила она. – От кого? От Иван Иваныча?

– Александровича, – одними губами поправила ее Эмма. – Да, буду рожать. Шанса больше не будет. Ты что, не понимаешь? А так... Так я буду уже не одна!

Эмма встала, потянулась, прошлась по комнате, постояла у окна – все молча, пугая этим притихшую Эллу.

Потом развернулась, внимательно разглядывая сестру, и наконец сказала:

– Та-ак... А теперь – все и по пунктам!

Пункты были такие – что ты знаешь про этого своего Иваныча, старого сладострастника? Кто он, откуда? Чем занимается? Какие болезни у него в роду? Может быть, шизофрения, эпилепсия или, не дай бог, недолеченный сифилис? Какая профессия? Возможно, он облучен и у него отвратная кровь. А, ты не знаешь? А может быть, его мамаша провела остаток жизни в дурдоме? Или брат заключенный? Убийца, к примеру? Или сестра-алкоголичка? Или все вместе? Нет? Неизвестно? А от кого, позволь узнать, ты собралась рожать? Молчишь? Вот и подумай! Кто у тебя может родиться? Не знаешь, правильно. Плюс твои далеко не юные годы. И что в остатке? Да! Еще не забудь – мама и папа! Все это их просто убьет. Дочь понесла – от кого? Неизвестно. Дальше – квартира. Две смежные комнаты. Родители не молодеют и часто болеют. Денег в доме нет – все еле сводят концы. Значит, так, ты сидишь дома, с ребенком этим. Ребенок орет, родители не спят, денег нет. А знаешь, что есть? Не знаешь? Есть позор, нищета и вселенский ужас. Есть полусирота, у которого никогда не будет хорошей одежды, приличных игрушек, моря и частных преподавателей. Да что там все это – у него никогда не будет отца! Родители, сломленные окончательно, – мало им бед и проблем, – когда-то уйдут. Ты снова засядешь в своей дурацкой библиотеке на свою крошечную зарплату, а он, твой ребенок, будет тебя ненавидеть. За все: за крохоборство – а как выжить иначе? – за неполную семью, дай бог, если он еще будет здоровым... От этих Иван Иванычей... Черт знает их душу!

– Я... так хотела... родить, – повторила Элла. – Ну, чтобы... быть не одной!

– Ну, то, что ты идиотка, всем известно давно. Разве ты одна? А я? Разве меня у тебя нет? Ты что, Элка? Свихнулась? Мы же с тобой... Ближе нет. Кровные узы, родная!

Она подошла к сестре и крепко обняла ее, приговаривая:

– Мы с тобой не одни, Элка! Мы есть друг у друга. Ты и я. Самые близкие, самые родные.

И никто из нас не предаст друг друга. Никто не подставит. Разве не так, милая моя? Разве не так, сестренка?

Элла плакала, прижимаясь к узкому и острому плечу сестры. Плакала, счастливая и несчастная одновременно.

Почему несчастная – это понятно. А почему счастливая? Да тоже понятно. Эмма сказала, что они есть друг у друга. Что они – не одни. И всю жизнь, до самой березки, как говорится.

Эмма сказала ей то, что она всю жизнь мечтала услышать, – сестренка!

– Но... у тебя же есть Шурик! – всхлипывая, присипела Элла.

– Шурик? – рассмеялась Эмма. – Ну да. Сегодня есть, а завтра – тю-тю. Шурик, не Шурик – какая разница? Да и вообще, при чем тут Шурик? Ты не поняла, что я сказала?

Поняла! Конечно же, поняла!

И сердце наполнилось счастьем.

Аборт сделали через неделю, все прошло спокойно и, если так можно сказать, хорошо.

Правда, Эмма в больницу «не забежала». Сказала, что «забежит», а потом... Не сложилось. День рождения брата мужа вроде.

Элла не помнила что.

Бывает. Элла поплакала – тихо, почти неслышно, собрала вещи и поехала домой. На метро. Денег на такси у нее не было – после отпуска... все знают, как это бывает.

А дальше все было обычно – обычная жизнь, обычные хлопоты. Жизнь текла монотонно, блекло, не радуя, но, слава богу, и не особенно огорчая. Или огорчая слегка. Как положено. Родители болели, старели, капризничали. Тетка с дядькой от них не отставали, тоже не забывая капризничать, стареть и болеть.

А Эмма снова выкинула очередной финт – Шурик спустя лет шесть был отправлен «по месту прописки», и возник новый муж. Эдвард.

Эдвард оказался финном. Познакомились они в Питере, куда любили завалиться его соотечественники – погулять от души, покуражиться. Эдвард этот был огромным детиной – белесый, безбровый, краснолицый. Об интеллекте речи быть не могло – он был простой строитель и, видимо, отчаянный выпивоха.

По-русски он говорил кое-как, с большим трудом, и с Эммой они общались на странной смеси английского, немецкого и русского.

– Как ты его понимаешь? – удивлялась Элла. – Лично я – ни бум-бум.

– А что мне его понимать? – смеясь, отвечала та. – Ничего умного я все равно не услышу. Да и слава богу, что не понимаю. Мне этот бред мужской надоел, хуже некуда! Интеллект не интеллект – на выходе, поверь мне, одно – все они дураки.

– Шутишь? – пугалась Элла. – Шутишь, конечно...

– Ага, шучу, – вздыхала та, – куда уж как весело от таких шуток.

– А зачем он тебе? – осторожно спросила Элла. – Вы же... такие разные с ним. Самоваров – я понимаю. Молодость, страсть. Даже Шурик – понять могу. Как ты говорила, экзотическая и умная обезьяна. Но этот Эдвард... Прости!

– Эдвард, детка, медведь. Неповоротливый, наивный, добрый – если сыт, разумеется. В жизни не смыслит, да это ему и не надо – им там вообще это не нужно. В смысле – кумекать, как нам. Выживать. Живи и работай – и все. А все остальное тебе обеспечат – страховки, кредиты, экологию и отсутствие криминала. Думать не надо – просто будь честным и законопослушным. Все, понимаешь? Но... У него в Лахте дом. И сад. Прекрасный дом, надо сказать, и замечательный сад. Он прекрасный садовник, ты представляешь? Там просто рай абсолютный. Море цветов. И дом – он построил его сам на месте старой избушки. Все с нуля – фундамент, стены, кровля, отделка. Любит его, как ребенка. А может, и больше. С первой женой сто лет в разводе, есть взрослая дочь, но та устроена – живет в Швейцарии за богатым банкиром. А он одинок. Хочет тепла. Говорит, что финские бабы – хуже кошмара не сыщешь. Страшные,

мужеподобные – бр-пр! Пьют наравне с мужиками и, не стесняясь, выпускают за столом... ну, ты поняла! А я для него – что-то такое, чего он и не видел.

Элла ужаснулась и покраснела.

– Ты что, все это – серьезно?

– Вполне! – засмеялась Эмма. – Да ты в голову не бери. Все будет нормально.

И Эмма засобиравалась в Финляндию.

– А старики? – забеспокоилась Элла. – Я ведь не справлюсь одна.

Эмма посмотрела на нее холодно.

– А что мне прикажешь делать? Ломать свою жизнь? Ведь она только-только, – и в Эмминых глазах заблестели слезы, – только-только! Ты понимаешь? Самоваров этот... Сколько было угроблено лет! Шурик. С ним вообще... один ужас. Друзья его бесшабашные, бабы, шуточки дурацкие! Всю жизнь он, примат, мне изменял. Боже мой! Я всегда была с *ними* несчастна! А тут – счастливый билет. Ты понимаешь? В мои-то годы, и так! У молодых баб не случается ведь. И что ты прикажешь мне делать? Послать Эдика, дом, сад, Финляндию? Счастье и покой на исходе лет? На закате жизни? Из-за чего? Из-за того, что родители не молодеют? И это говоришь мне ты, моя сестра? Человек, ближе которого у меня нет?

Всю ночь Элла не спала. «Какая же я эгоистка! – думала она, обливаясь от стыда холодным потом. – Бедная Эмка! Бедная! Ведь действительно – шанс. А он и вправду славный, этот Эдик. Эдакий медведь косолапый, а любит цветы. Чудеса!»

Все дни до отъезда она утешала печальную Эмму – успокаивала, что будет все хорошо. Старики под присмотром – благо близко живем. Справимся, не волнуйся! Я тебе обещаю.

Только за пару дней до отъезда осмелилась спросить про квартиру:

– Элка, ну, ты ж понимаешь. С ними так трудно. И тесно ужасно. Ни телевизор посмотреть, ни... вообще ничего. Я перееду к тебе? Ну, в бабулину квартиру? А? Я так мечтала пожить одна – ну, хоть сейчас, хоть немного!

Был отказ – категорический и обоснованный.

– Эдик жадноват, как все иностранцы. Карманных денег не будет – это я поняла. И что? Выклянчивать на колготки и шпильки? Унижаться, просить? Нет уж, уволь! В чужой, незнакомой стране! Квартиру я уже сдала и деньги вперед получила. Так что прости и пойми. Как я там буду совсем одна и еще без копейки?

Элла вздохнула и поняла – в который раз поняла. Она была из понятливых, сестра Эммы. Жизнь научила. Ну, или сестра.

Эмма уехала, и почти сразу все как-то стало рушиться и разваливаться. Она и раньше была не помощник, понятно, но после ее отъезда Элла совсем растерялась – четверо очень пожилых и не очень здоровых людей, за которых теперь отвечает только она. Она одна! И помощников, пусть даже советом, поддержкой, у нее больше нет.

Она была в отчаянии – в больницу попала сначала тетка, а затем отец. Она разрывалась на части, мотаясь в разные концы города.

Термосы с протертыми супами и бульонами на третьей воде, судочки с пареной рыбой и куриными фрикадельками, баночки с заваренным черносливом и протертой морковью. Неподъемные сумки со сменным бельем. Переговоры с врачами – и это было самое трудное. Общаться не трудно, а вот твердо, четко сформулировать свои претензии и просьбы, настаивать, принимать решения – все это было так сложно, что она совсем теряла силы и еле-еле поползала до дома.

А дома снова ждали хлопоты и проблемы – домашние капризничали, волновались за близких, глотали сердечные капли, вызывали «Скорую» и вываливали на бедную Эллу свои недовольства.

Она снова вставала к плите – а всякая готовка была ей почти отвратительна, своим домом она не жила и к кухне была неприучена.

До ночи она стояла у ненавистной плиты, соля супы и второе своими слезами.

Две квартиры, давно не знавшие ремонта, рушились вместе с жильцами. Отпадали куски штукатурки с потолков, отклеивались старые обои, заворачиваясь в трубочку.

Текли краны, ломались унитазы, вспучивался облезлый линолеум и подгорала проводка.

Она без конца бегала в ЖЭК, ругалась с поддатыми и наглыми слесарями, которые не ставили ее ни в грош и открыто насмехались над неловкой, бестолковой, кудахчущей курицей в старом мешковатом пальто и замызганных ботах.

Денег, как всегда, было в обрез – пенсии стариков уходили на лекарства, а ее скудная зарплата... да что говорить!

Братья ругались – Семен требовал продать старую дачу, содержать которую было уже не по силам, а Илья категорически не соглашался – мотивируя тем, что в нее, в эту дачу, вложена куча сил, нервов, здоровья и денег. Да и вообще – почти родовое гнездо.

Бред, конечно. Родовое гнездо на глазах хирело – крыша текла, двери и рамы рассохлись, участок методично зарастал бурьяном, яблони и сливы давно выродились, забор сгнил и частично упал.

Платились только взносы – копейки, конечно, но в их положении!

Элла ездила и туда – нечасто, по настоянию родителей. Заходила на участок, садилась на трухлявые ступеньки и начинала реветь. Дом, где прежде собиралась огромная и дружная семья, где бабуля вечно стояла на узенькой кухоньке – поди прокорми такую ораву! Стол на терраске – круглый, под старенькой скатертью – требование бабушки! А на столе – малосольные огурчики, эмалированный зеленый тазик с пирожками – яблоки или капуста, стеклянная вазочка коричневого печенья, плоски с вареньем – своим, клубничным, смородиновым или крыжовенным.

Любимые дачные чашки в красный горох – чай из них самый душистый и вкусный.

Дедуля в плетеном кресле (Илья притащил с помойки – «Вот дураки! Выкинуть такой раритет!») с газетой в руках и в очках на кончике носа. Мама с теткой шушукаются и смеются, а бабушка смотрит на них, улыбаясь и покачивая головой с седой, все еще густой, кудрявой шевелюрой.

А отец и дядька о чем-то спорят в саду или в сарае – пилят дрова, подрезают яблони, красят сарай. И они с Эммой – совсем маленькие – играют в песочнице или варят «кукольные» щи из крапивы, компот из рябиновых ягод, Эмма иногда злится и ругает сестру.

Но они счастливы! Все! Так безгранично счастливы, так беспечны, наивны, полны надеж и планов, своих девчачьих секретов, маленьких тайн, что расстроить их ничего не может – ну, или почти ничего.

И счастлива бабушка, из кухонного окошка наблюдая за дедом. И счастлив дед – у детей, дорогих сыновей, прекрасные семьи. А внучки какие! Радость и счастье. И душевный покой.

И счастливы мама и тетка – подруги, наперсницы, сестры.

И братья – вот только-только покричали, подулись, поспорили – и уже снова рядом, снова решают проблемы. И снова вместе!

И под сливой кровати с любимыми куклами – Стеллой, Эмминой «дочкой», и Катей – Эллиной.

А вечером все пойдут на речку, и девочки с разбега, взявшись за руки, влетят в сероватую мутную теплую воду, увязнут в илистом дне и будут топтаться на нем, громко смеясь.

А на берегу будут сидеть их молодые матери, еще такие красавицы, с такими горящими и счастливыми глазами – в ярких сарафанах, с полотенцами в руках, чтобы принять своих дочерей – обтереть замерзшие, дрожащие, тощие тельца, укутать в пикейное одеяло и сунуть по яблоку и конфете.

А совсем вечером, когда они вернутся домой, бабушка поставит на стол тарелку оладий и выдаст по кружке «козлячьего» молока – так говорит бойкая Эмма.

Молоко обе не любят, это почти пытка, но пьют. Через день из деревни приходит молочница Софья и продает молоко «за бешеные деньги» – так говорит бабушка, и «бешеное молоко» надо пить – для здоровья, конечно! Чтоб не болеть долгой холодной зимой.

А перед сном зайдет мама или тетка и целый час – счастье, счастье! – будет читать девочкам вслух. Конечно, любимые книги – «Дорога уходит вдаль» или «Волшебник Изумрудного города». Или «Детство Темы».

А отцы будут спорить о чем-то на террасе, и бабушка будет цыкать на них – но это поможет минут на десять, не больше.

Шумные люди, шумное семейство. Очень шумное и очень счастливое!

А девочкам, сестрам, будет уже все равно – они уже крепко спят, летают во сне, Растут. Мечтают. О чем? Да кто ж знает! Проснувшись, они и не вспомнят об этом: детские сны – легкие, воздушные, короткие и непременно счастливые.

Все... Все были счастливы в ту давнюю пору... Все.

Все *были* и все были счастливы.

Господи! И куда все ушло? Почему? Так скоро и так... безвозвратно?

Потом она вытрет слезы, дернет входную дверь – она давно уже открывается просто так: еще в прошлом году замок сорвали и вынесли какую-то ерунду – старые одеяла, подушки, кастрюли. Да и бог с ним, со всем этим «добром». Что там жалеть? Старое полуистлевшее барахло? Когда давно уже нет дорогих людей. Когда уже нет огромной и дружной семьи. Смешно говорить.

Из дома пахнет сыростью, волглými тряпками, мышами и тленом. Красть уже нечего – все давно растаскано, разворовано – благо об этом не знают родители.

Она пройдет по комнаткам, увидит какую-нибудь вещь – бабушкин платок или старую кофточку. Мамин халатик – темного ситца в мелкий цветок. Пожелтевшую, размокшую коробку от отцовских папирос, любимую чашку дядьки с отколотым краем – высокую, темно-зеленую в рыжую крапку.

И снова расплачется, снова...

Потом быстро выйдет – скоро начнет темнеть, и ей станет страшно в этом доме, полном призраков прежней, далекой и прекрасной жизни, и она, приперев дверь поленом, бросит печальный взгляд на заросший участок, давно потерявший очертания грядок и клумб, и бросится скорее прочь.

И по дороге на станцию – быстрым шагом пятнадцать минут, но где он теперь, этот «аллюр»! – она старается идти быстро, а все равно выходит почти полчаса, и она снова плачет и плачет.

Так грустно и так тяжело!

А дома она наденет на лицо «хорошее выражение» и скажет родне, что все хорошо. Все хорошо, разумеется! Дом стоит – а куда же он денется? Крепкий же дом, братьями сложенный, с любовью и с толком.

И на участке – ну да, он, конечно, зарос, вы ж понимаете! Но в целом – в порядке. Ничего не рухнуло – ни сливы, ни яблони. Ни дедушкин клен.

Родители будут слушать ее рассказ жадно и внимательно, уточняя детали. А она будет врать, изворачиваться – ну, не скажешь же всей этой правды?

Не скажешь...

А родители будут мечтать, что летом – вот этим-то обязательно – они поедут на дачу. И будет все хорошо!

Они строят планы, но она видит только четырех больных и почти беспомощных, дорогих стариков.

Какая дача, о чем вы? Смешно.

А ночью ей снова станет так тяжело на душе, что она решит позвонить наутро сестре – и...

А что, собственно, и? Сестру давно не волнует все это – здешняя жизнь. Развалившиеся квартиры, разбитая дача. Скучная, некрасивая жизнь – нищета, больницы, перечень лекарств, суп из куриных каркасов, котлеты из пикши, байковые халаты и теплые кальсоны.

Она живет по-прежнему в сказке – глянецовые фото прекрасного дома с огромными окнами и плюшевыми диванами, чудесного сада с цветущими рододендронами – розовыми, сиреневыми, бордовыми. С дорожками, посыпанными цветным гравием, между огромных кустов разноцветных гортензий.

На фотографиях Эмма моложава, как всегда, подтянута и стройна – узкие, до колена, яркие бриджи, маечки – открытые, тоже ярких расцветок, совсем для девчонок.

Она улыбается – возле яйцеподобной серебристой машины, возле красивой входной двери с колокольчиком, возле огромного гнома – с бородой, в красном колпаке и с хитрой усмешкой – в саду, он караулит Эммин сад и Эммин покой.

Звонит она редко, раза два в месяц, не чаще. И всегда – всегда – предчувствуя Эллины жалобы, начинает примерно так: «Ну? И что у вас снова там? Опять одни ужасы?»

Говорит она это так, что Элла сразу робеет, сбивается и теряется – все скороговоркой, быстро, отчаянно, но...

Эмма ее как будто не слышит. Элла улавливает, как Эмма вздыхает, щелкает зажигалкой, прикуривает и снова вздыхает: «Понятно. А я, собственно, другого от вас и не ждала!»

И это будет сказано так, что Элла смутится, расстроится и замолчит. К чему ей делиться? Зачем? Зачем раздражать счастливого человека? Назло?

И тут вступает Эмма: «А вы что думаете? Что здесь нет проблем? Милая ты моя! – Эмма скажет это с такой иронией, что Элла снова почувствует себя идиоткой. – Это все заблуждение. Огромное заблуждение! Проблем здесь не меньше, а может, и больше. Все эти налоги, кредиты, страховки! У Эдика почти нет работы. Ты слышишь меня?» – взывает к совести Эмма.

И продолжает с болью и горечью: «Почти нет работы. Так, крохи. А за все надо платить. За дом, за машину. Садовнику, слышишь! Мы взяли садовника – Эдик уже не справляется, да. Вчера сломался котел – и это был ужас! Почти две тыщи долларов, слышишь?»

Элла все слышит. И Элла сочувствует. Очень.

«А отпуск? Сорвался! Ты представляешь? Сорвался совсем. А мы так мечтали! О теплом море, о Греции! У нас ведь такой жуткий климат. Но – этот котел...»

Эмма вздыхает. И Элла вздыхает. Потом разговор как-то затухает и гаснет – сам по себе.

Ни разу! Ни разу Элла не была в гостях у сестры. Не звали ее – как-то не звали. Да и на кого оставить родных?

Правда, приходили посылки – старые Эммины кофточки, брючки, ночные рубашки. «Не подойдет – отдашь маме. Любой, – шутила Эмма, – любой!»

Отцу и дядьке перепадали Эдиковы старые джинсы и ветровки. Однажды досталась отличная куртка – легкая, из гагачьего пуха, цыплячьего желтого цвета. Правда, после гиганта Эдика старикам, уже изрядно подсохшим и ссутулившимся, курточка не подошла. Да и цвет! Ну, куда старикам ярко-желтое!

Эмма тогда пару раз позвонила и все спрашивала, кому же достался «цыпленок»?

Расстроилась, что никому. Очень расстроилась, очень. Переживала. А может, продать?

Элле вещи сестры были впору, но... К таким откровенным и ярким нарядам она не привыкла, ходила по старинке – темные юбки, водолазки, вязаные кофты. Подарки копились в шкафу, мялись, пылились, но Элла их не раздавала – а вдруг приедет сестра? Увидит, обидится?

Но сестра, похоже, не собиралась. У человека же столько проблем! Как не понять?
И Элла все понимала. Ну, впрочем, как и всегда.

Родня потихоньку сдавалась и уходила – сначала ушла тетка, за ней отец, и почти не вставала мама.

Тетка была из терпеливых и совестливых – казалось, ей было так стыдно за дочь, что она чувствовала себя виноватой. За все благодарила племянницу так горячо, что Элла терялась.

Скрывала сильные боли – ее, несчастную, уже доедал коварный рак желудка.

Сама попросилась в больницу – и снова для того, чтобы облегчить Эллину участь. Там и скончалась. А Элла еще долго корила себя, что отдала туда бедную тетку.

А вот с отцом получилось наоборот – Семен, самый сильный, стойкий и выносливый из всех «инвалидов» семьи, к старости совсем разнюнился и расклеился – плакал, обижался на дочь и жену, к тому времени тоже еле живую, требовал повышенного внимания, без конца жаловался и всем был недоволен.

С ним Элла намучилась больше всех. И все же, когда отец умер, она долго не могла прийти в себя и снова корила себя, корила. Что недодала тепла и внимания. Что иногда срывалась, покрикивала, злилась и раздражалась. Мучилась так, что совсем перестала спать по ночам.

Участковый врач, пользовавшая еще деда с бабушкой, строго сказала:

– Элла Семеновна, так вы себя совсем загубите. Хорошим это не кончится. Он умер от старости. Вы понимаете? Просто от старости. Время пришло. И перестаньте себя терзать, право слово!

Успокоили не эти слова, кстати справедливые абсолютно, а снотворные и успокоительные. Увы.

Мама, конечно, Элли жалела. Крепилась изо всех сил, но... Вставать не могла. А лежачий больной... Ну, все понимают.

Крепился и дядька Илья. Но тоже был плох, как ни держался.

А в жизни Эллы вдруг... произошло то, что и не ожидалось. Элла встретила человека. В смысле – мужчину. Всей своей жизни – правда, смешно?

Валерий Михайлович в прошлом был человеком военным – служить доводилось везде. Поездил дай бог! Ну, или не дай.

И Казахстан, и Сибирь. И даже Азербайджан и Литва – вот покидало, что говорить!

Теперь он вдовел, уже шесть лет, и от вдовства своего очень устал. С женой было прожито много счастливых и трудных лет, болела она тоже долго – лет восемь. И все эти годы он честно делил с нею все тяготы жизни. Но отмучилась, бедная, и тихо ушла.

А Валерий Михайлович жил. И даже был неприлично здоров – ну, для человека немолодого, конечно.

Их встреча с Эллой была, разумеется, случайной – в районном собесе, – куда уж прозаичней!

В долгой очереди он рассмотрел немолодую и стройную соседку – приятную женщину, очень приятную и, что главное, – скромную и ненахальную. Это он углядел сразу – опытным взглядом бывалого человека. Нахальных полковник боялся больше всего.

Разговорились, посетовали – о том о сем и обо всем сразу. Вместе пошли к метро. Он проводил ее и попросил телефон. Она совсем растерялась, вспыхнула ярким румянцем, но, чуть подумав, телефон дала.

А потом долго мучилась – зачем? Зачем дала телефон? Идиотка, кретинка. Безмозглая, старая дура. Женихаться собралась, что ли? Нет, он ей понравился. Очень понравился – степенный, солидный мужчина очень приятной внешности. И все же... Глупость и бред! Ну, позвонит он. А дальше? Допустим, пригласит в кино или в театр. Нет, театры сейчас слишком дороги – вернее, билеты. А он пенсионер. В кино – это да, скорее всего. В кафе? Вот туда точно не надо. Она сто лет не была в «заведениях» – сробеет, скукожится, будет коситься в меню, выбирая что подешевле. А таких женщин не уважают. С такими клушами не считаются – так всегда говорила сестра, а у нее-то есть опыт! Да и надеть совсем нечего. Свои скучные, серые тряпки? Ох... Эмкины, из посылок? Ну, это вообще смешно!

А сапоги? Есть только деми, очень старые, четырехгодичные, с потертыми носами и скошенными каблуками – она всегда была косолапой. Есть, правда, новые зимние – очень даже вполне. Пока еще с блестящей кожей, с кокетливым бантиком. Но на меху. А на дворе плюс один! Куда в этих зимних? А пальто? Серое, стеганое, очень, конечно, удобное, но это пальто только для рынка. А на свидание – стыдно!

Господи! – остановила она себя. – Какое пальто? Какие с бантиком зимние? О чем это я? Какое свидание? Дура! Он уже выкинул телефон – потому что подумал. Разглядел как следует и... Он может найти себе спутницу куда интересней. И даже моложе. Стильную, модную, не занудную. И самое главное – *не обремененную*. Всем тем, что есть у нее. Ну, понятно и так – без стариков, без полуразрушенных квартир, без развалившейся дачи. Без постоянных визитов участкового врача, без этих непрекращающихся больниц и их запахов, плотно впитавшихся в одежду и даже стены, – запахов лекарств, сердечных капель, бедности и скудной жизни.

Она постаралась выбросить все эти глупости из головы, принялась за свои обычные, ежедневные дела – выкупать обоих, поменять постельное, заварить травы, разложить по коробочкам таблетки. Сварить обед на завтра – мама просила щи, а дядька Илья – бульон. Всем разное, и все капризничают. Можно, конечно, цыкнуть и приготовить что-то одно, но ей, как всегда, их жалко – какие у них нынче радости? Вот именно – только поесть. Разные вкусы, что тут поделать.

Потом она позвонила урологу, поговорила о том, что ее волновало. Получила еще список лекарств, вздохнув, что это снова расходы, и расходы немалые.

Вспомнила, что в воскресенье хотела поехать на кладбище – планов менять она не любила.

Да, завтра – последний день месяца. А это означало, что надо зайти к Эмкиным жильцам и забрать деньги. А потом – господи, как же все надоело, – надо тащиться на почту, чтобы перевести их сестре – та не любила, когда деньги задерживались.

Что там еще? Да, в Теплый Стан за продуктами – только туда, там намного дешевле, хотя тяжело, конечно, но с сумкой на колесиках в самый раз. А там – раз уж приехала, раз дотащилась, все и помногу – и мясо, и куры, и овощи тоже.

«Боже мой, – подумала она, – как я устала! Как устала от всего, господи! От болезней, врачей, капризов, бесконечных обид, поджатых губ, эгоизма, непонимания – кухни, квартир, дачи, вечного подсчета копеек... Как я устала *не отдыхать*! Как я хочу увидеть море. Подышать морским воздухом, пройтись по набережной, съесть мороженое и послушать, как кричат наглые и оголтелые чайки. Просто сидеть на скамейке и смотреть в бесконечность. Туда, где сливаются море и небо. Или так – побродить по лесу, надышаться хвоей, прелыми листьями. Почувствовать под ногами мягкую, еще не остывшую землю. Лечь на пожелтевшую траву и смотреть в сероватое, осеннее небо – просто смотреть, как бегут облака. А потом сесть в элек-

тричку, обязательно у окна, прислонить голову к прохладному стеклу и прикрыть глаза – просто задремать под перестук колес и ехать долго-долго, и чтоб не будили... Неужели все это – такое простое, такое доступное – не для меня? Но почему?»

Ночью спалось тревожно – мучилась от своих *неправильных* мыслей – как она может так думать? Мечтать о свободе? Как ей не стыдно! Ведь эта свобода подразумевает только одно – их уже не будет! Только тогда она сможет принадлежать себе. Когда они уйдут. Последние ее старики. Сволочь она, конечно. Сволочь и дрянь...

Нет, просто устала. Очень устала.

Накормив завтраком маму и дядьку, сделав очередную пробежку по этажам, она поспешила на работу – график, слава богу, такой, какой ей необходим, – два дня до обеда, два с обеда и до восьми. Это означало, что завтраком все накормлены, таблетки выданы, туалет произведен, а к обеду она уже дома!

Счастье? Конечно. И ей еще бога гневить! Работа у дома – пятнадцать минут пешком. Полдня, и – свободна. Квартира своя, отдельная. Ноги носят – спасибо. Какое нытье? Какие жалобы? Подумать только – устала. Цаца какая!

О своем новом знакомце Элла скоро забыла – не позвонил, да и ладно. Меньше дурацких мыслей и всяких глупостей в голове.

И снова проблемы – срочно надо заниматься зубами. Такая напасть! Сходила в зубную клинику, посмотрели, посчитали, в смысле – фронт работ. И стало совсем грустно – деньги такие, что...

Ну, неподъемные деньги! Врач посоветовал взять кредит. Она удивилась:

– На зубы?

Он подтвердил:

– Да, сейчас многие так делают.

– А выплачивать с чего? Какие кредиты, господи!

Врач молча развел руками и громко вздохнул:

– Я вас понимаю!

Хоть кто-то понимает – спасибо на этом. Видимо, она не одна такая – много таких.

Подумала два дня и позвонила сестре.

Эмма выслушала ее, но даже в ее молчании было сплошное недовольство.

– Ну а я-то чем могу помочь? Деньги с аренды? Я, кажется, все тебе объяснила. Да и потом – забери папу к себе. И сдай нашу квартиру. Так просто. Как все гениальное! И тебе, кстати, тоже все упростится – не надо бегать на третий этаж, носить все эти котомки твои. Все рядом и всё компактно. Разве не так?

Никакие объяснения, что дядька Илья не хочет переезжать из своей квартиры, что это совершенно невозможно, не действовали. Она и сама пробовала не раз – бесполезно. Только слезы и крик – что она, Элла, хочет его смерти. Нет, нет! Она ни за что это не сделает. Да, и еще. Комнаты смежные – как это будет? Значит, одного из стариков придется взять в свою комнату? Не поселишь же их вместе!

– Все зависит от тебя, – отрезала Эмма, – и все твои аргументы – обычная чушь. Не селить в одну комнату? Да делай так, как удобно тебе! Ты и так все для них делаешь. Пусть стонут и жалуются друг другу. А у тебя станет полегче с деньгами. И вставишь себе новую челюсть! – тут она совсем развеселилась и захихикала.

Элла молчала. Эмма, уловив ее обиду, впервые сказала:

– Ах, как было бы славно, если бы ты могла приехать ко мне. Но... я же все понимаю. Ты же не можешь – куда ты их денешь?

И в первый раз в жизни Элла *осмелилась* положить трубку первой.
Чем, видимо, обескуражила сестру. Хотя вряд ли – Эмма не перезвонила.

А кавалер объявился неожиданно-негаданно – она и думать о нем позабыла. Он почему-то долго извинялся за свой нескорый звонок и торопливо рассказывал, объяснял, что с ним приключилось – внезапно попал в больницу. С чем?

– Да бросьте, – смутился он, – неважно, так, ерунда. Сейчас уже все в порядке.

– Вам что-нибудь нужно? – спросила она. – Может быть, помощь? Я, знаете ли, – тут она не удержала тяжелый вздох, – в этих делах человек, к сожалению, опытный!

Он тоже смутился, конечно же, отказался и предложил погулять.

– Что? – переспросила она. – В каком это смысле?

Он рассмеялся.

– Да в самом обычном. Общечеловеческом. Например, съездить в парк Горького – там, говорят, стало очень красиво.

– А давайте, – она секунду помолчала, – лучше в сад «Эрмитаж». Я там сто лет не была.

Он обрадовался.

– А я не дотумкал! Знаете ли, я ведь не коренной москвич. Поэтому и не додумался.

– Не коренной? – рассмеялась она. – А какой? Пристяжной?

Теперь смеялись оба, и им стало как-то сразу легко и свободно.

– В общем, на завтра, да? Часиков в пять или в шесть?

И был сад «Эрмитаж». И была такая погода! Словно ее заказали – там, наверху. Прозрачное синее небо, белые облачка, пробегавшие быстро, словно спеша куда-то. Яркое солнце – белое, слепящее, но совсем не жаркое – осеннее солнце. И листья. Листья повсюду. При малейшем порыве ветра они начинали кружить в танце, в своем хороводе – красные, рыжие, желтые.

А потом они сидели в кафе за уличным столиком и пили чай с ватрушками – теплыми, дышащими, словно только из печки.

Они говорили, они молчали. И им было так хорошо... Так хорошо и так страшно – так не бывает, честное слово!

Их счастливый роман начался именно там, в осеннем саду под тихую музыку маленького оркестрика, игравшего старые, довоенные песни.

Всю осень – а она выдалась неожиданно теплой, как на заказ, – они бродили по улицам. Замерзнув, забежали в кафе и грелись кофе и булочками. Она рассказывала ему про свой город, стремилась провести по любимым улочкам. Такая неразговорчивая прежде, она говорила, говорила – неожиданно обо всем: рассказывала про семью, про деда с бабушкой, тетку и дядьку, родителей и сестру.

Вспоминала такие подробности, что сама удивлялась – и где же они хранились все эти годы? В каких отсеках памяти и души?

Он, наслушавшись про дачу, немедленно захотел туда поехать – и ерунда, что там все запущено, сыро и грязь!

Он тоже рассказывал о себе – про службу, про долгую и счастливую семейную жизнь. Про дочь – хорошую женщину, но... несчастливую. Уже второй раз вдова – вот как бывает! Осталась на Севере, там тяжело, но ей привычно. Растит двоих сыновей, и, в общем, радости мало – гораздо больше проблем и печалей.

Элла теперь подолгу рассматривала себя в зеркале – и ей казалось (конечно, казалось, и только) что она... помолодела, что ли? Порозовела как-то, разгладилась.

И глаза! Вот это было наверняка – глаза заблестели. Нет, правда! Исчезла тусклость, покорность. Обреченность какая-то, что ли?

Теперь это были глаза *женщины*. Не тягловой клячи, не забитой овцы, а именно женщины! Которую слушают. Которая интересна. Которая... ну, все понятно. Страшно даже произнести...

Спустя три месяца он предложил ей «сойтись».

– Как это? – спросила она, почему-то внезапно побледнев. – Что это значит?

Он тоже смутился и буркнул:

– Ну, ты понимаешь же, Элла... Не можешь же не понять, честное слово! Прости, если прозвучало это неловко и глупо. Я просто не знаю... Ну, как это назвать.

Теперь совсем смутилась она и начала его успокаивать:

– Нет-нет, я все поняла. Все, что ты имеешь в виду. Я просто пытаюсь понять, как ты это видишь? Ну, при всех моих колоссальных проблемах...

Решили так – все живут, как жили прежде. Только теперь – она *его жена*.

– Мы пойдем в загс, слышишь? Да, непременно, и никак иначе. Только пока – слышишь, пока! – раз ты не хочешь, я буду жить у себя. Ну, в смысле... О господи, как все непросто. Но я буду рядом. Слышишь? Всегда. Я буду рядом и буду с тобой все... делить. Все хлопоты, слышишь? Я многое умею – армия, знаешь ли. И потом... так долго болела жена... Я все могу, ты поверь! И поменять, и протереть, и искупать – если надо. И суп сварить, и накормить. Опыт большой – увы, страшный опыт. Я буду за все отвечать! Да, кстати. Мы приведем дом в порядок. В смысле – починим все, что там разрушено. Одному, конечно, тяжеловато, но возьмем работяг, и они мне помогут. А летом – летом мы вывезем их на дачу. А? Здорово? Им, старикам, там будет лучше. А в квартире переклеим обои, побелим потолки, все тоже поправим – пусть не евроремонт, но все же будет приличней и чище... И продукты – рынки твои, магазины: вместе же легче! А то я и сам. Я понимаю, честное слово. И в мясе, и в овощах...

Она смотрела на него и молчала. Смотрела, как смотрят на любимое дитя, которое несет, конечно, глупости, но... такие милые и безобидные! И ты восторгаешься любимым ребенком еще больше, еще сильнее.

– Не веришь? – вдруг осекся он. – Ты мне не веришь?

– Верю, – тихо сказала она, – только... зачем тебе все это надо? Прости!

– Ты, Элка, дура! – закашлялся он. – Вроде не девочка, а такая... дурная! – Потом снова откашлялся и, чуть отвернувшись, сказал: – Зачем? Хороший вопрос! А ты... не подумала, что я... просто... полюбил тебя, Элл!

Что должна ощущать женщина «слегка за пятьдесят», когда ей признаются в любви? Впервые признаются, надо заметить. Радость, шок, счастье, растерянность? Удивление, смятение, испуг?

Да все вместе. Именно это она и испытывала.

Господи, и это на старости лет! К концу, так сказать, жизни. Жизни вообще – а что уж говорить про женскую жизнь?

Нет, все правильно. Все справедливо! Кому, как не ей, Элле, – чудесной во всех отношениях, доброй, жертвенной, всепрощающей, сочувствующей всем и всегда, – кому, как не ей? Но остались еще такие, кто верит во вселенскую справедливость? Да вряд ли.

Жизнь, она ведь давно убедила нас всех в абсолютно другом.

Умницы, жертвенницы, бессребреницы – где ваше женское счастье? Ау?

А все остальные – да бог им судья!

Она, конечно же, пребывала в полной неразберихе – любит! Ее – потрепанную жизнью, немолодую и усталую женщину! Нет, верит, конечно же, верит. Он – не из тех, кто соврет. Да и выгоды – ноль. Что он получит с новой женой? Двух немощных стариков? Заботы, проблемы?

У него квартира, машина. Приличная военная пенсия. Да целая туча прекрасных и молодых женщин были бы счастливы составить ему компанию! Он по-прежнему хорош собой, крепок, плечист. Не пузатый, не лысый. Хотя даже два последних фактора вовсе не такие уж недостатки.

Он не избалован – а где вы видели избалованных военнослужащих? Прошел через всякое, хлебнул по самое горло. Может прекрасно обслужить себя сам. Ему не кухарка нужна, а жена. Подруга, соратник! Да и какая из Эллы кухарка? Смешно!

Он видел горе, болезни и смерть. Он ценит жизнь, очень ценит. Ценит верность и преданность. Он просто устал быть один!

Но... смущало, конечно, многое – например, как примут его старики? Ну, не прятать же его, честное слово! Как они будут жить на два дома? И разве это нормально? А вместе – пока никак. Пока... И дай бог, чтобы это «пока» тянулось подольше... Желать освобождения от своих? Да нет, разумеется, нет. И подумать об этом нельзя!

Что она, Элла, может ему дать? Кроме верности и благодарности? Уют? Разумеется, нет. О каком уюте и быте можно сейчас говорить? Жизнь их будет рваной, нескладной, совсем не семейной. Бегать к нему, чтобы убрать, приготовить обед, погладить рубашки?

Да он и не нуждается в этом. Быт его давно и прочно налажен, и она своими «набегами» внесет только смуту в его устоявшийся быт.

Совместный отдых? Поездки – близкие и дальние – да тоже ведь нет. Какие поездки? При наличии двух стариков!

Ну, а все, что у них уже есть, – прогулки, посиделки в кафе, киношки и выставки – так все это было бы и так. Как, собственно, было!

Зачем ему идти с ней в загс? Зачем узаконивать их отношения? Ее все устраивает. Все – абсолютно! Но...

Сказать ему об этом – обидеть. Он не привык по-другому – человек военный и правильный. Любит – значит, надо жениться. Живут – значит, жена.

Да и возражать, противостоять и убеждать Элла не очень умела. Точнее, совсем не умела.

Ну и по всему выходит, что надо так, и никак не иначе. Просто принять все и оказаться счастливой. Как просто, да?

Старики приняли его превосходно. Мама плакала и приговаривала, что наконец-то, наконец-то дочери повезло! Ее прекрасной, чудесной и замечательной дочери. «Эллочка, кому, как не тебе?»

– Ну, дождалась, – вздохнула она, – теперь я буду спокойна. Уйду – а ты не одна. Да еще и с таким человеком!

– Мам, – мягко укорила ее Элла, – ну, зачем же ты так? Живи, пожалуйста! Я бога молю, чтобы ты еще пожила. А насчет одиночества – так это ты тоже... Ну, зря! У меня же есть Эмка. Почти родная сестра. Вы же всегда говорили, что мы есть друг у друга!

– Господи! – Мать тяжело вздохнула. – Нет, ты все-таки, Элл, страшная дура. И это в твоём-то возрасте, Элла! У нее есть ты. Это правда. А вот ее у тебя нет. До тебя это еще не дошло? Я часто думаю, – мать помолчала, – вот ты, Элка, дура или святая?

– Мам! Ты о чем? – удивилась дочь. – Просто вы... так меня воспитали. Ты, папа, бабуля, дедушка. Вы! Что надо помогать больным и слабым. Думать о других больше, чем о себе. И вообще, семья – это главное. Это – святое! А вовсе не я.

Мать снова вздохнула.

– Воспитали! – повторила она. – Тебя одну, что ли, воспитывали? Вас воспитывали одинаково. И где то, что вложили в нее? Ну, про семью, про родных? Про святое? И вообще... она, *твоя* Эмма... страшный человек. Очень страшный. Да она тебе жизнь сломала, *твоя* милая Эмма... всегда твою жизнь крушила, да и теперь.

– Что теперь, мам? – разозлилась Элла. – Теперь-то что? Где она и где мы. Ты что, мам, ей-богу! Да и кто знает, как ей там живет?

– Я и говорю – дура. Какой была, такой и осталась. И ничто тебя не исправит, – вздохнула мать и махнула рукой.

А семейная жизнь началась. Точнее, *полусемейная*, как называл ее Валерий Михайлович.

И все же! Поправили дачу – подняли забор, поменяли крышу, починили двери и рамы, вставили стекла. Прибрались внутри, и «молодой» – так они шутили, – прошелся косою по участку. И даже кое-где выскочили цветы – из тех, что сажали когда-то: золотые шары, белые мальвы, измельчавшие пионы и флоксы. Нет, до порядка – того порядка, что был когда-то, – было еще далеко. Но дача – любимая дача – все же постепенно приобрела жилой вид.

И в сердце у Эллы теперь царили покой и тихая радость. Уезжали на два дня: одна ночь, больше нельзя – старики. И хватало одной ночи, чтобы и нервы поправить, и настроение, и на душе чтоб полный порядок... Муж дачу горячо полюбил – говорил: «Вот они, деревенские корни. Опускаю руки в землю, и прямо счастье!»

В августе ходили за грибами, и здесь Валерий Михайлович показался себя специалистом отменным. Потом разбирали грибы по кучкам – опята на солку, чернушки, волнушки – туда же. Сыроежки – брали только молодые и крепкие – отлично для жарки. Вкусней благородных.

Ну а уж те самые благородные – белые, красные и серые – подберезовики – так это сушить. Это на суп.

Там, на подправленной и обновленной терраске, где они долго и неспешно перебирали грибы, вдыхая их пряный осенний аромат, они говорили, говорили... Обо всем. Про прошлое, настоящее и, разумеется, будущее. «Пока жив человек, он строит планы», – говорил ей муж, когда она махала руками: «Валерочка, ну, давай не будем загадывать. Страшно, ей-богу!»

А зимой тосковали по даче. Муж собирался ее утеплить: «Будем ездить на лыжах, Элка! Поставим буржуйку, наколем дров – и ночуй!»

Так к ней вернулась *ее* дача. Ее любимое место, место, где было столько лет счастья. Где были *все* – еще были все!

А к весне ушла мама. Не дождалась лета. Такое горе, господи! И снова терзания... Но теперь у нее был Валера. И он поддерживал, как мог. Иногда ей казалось, что без него она бы не справилась, не поднялась. Наверное, так бы и было...

Почти все ушли, остался «последний из могикан» – дядька Илья.

И он был так плох, совсем еле-еле... Но жил. Слава богу, пока еще жил!

Валерий Михайлович переехал к жене – через пару месяцев после смерти тещи.

И даже отправил измученную Эллу в санаторий, взяв уход за стариком на себя.

Элла и вправду здорово отдохнула и набралась сил – спустя две недели вернулась похорошевшая, пополневшая и румяная.

А муж к ее приезду – ну, вот это сюрприз! – купил новую кухню и перестелил полы.

Элла смотрела на него и плакала: «От радости, Валерочка! Это от радости!»

И праздничный ужин – курица, картошка и любимый торт «Полено фруктовое» – тоже ждали ее.

Ее ждали! Впервые ее ждали не для того, чтобы... Тут можно долго перечислять – все ее дела и обязанности.

Ее ждали, потому что любили. Потому что скучали по ней. Потому что она просто нужна!

Как просто, да? Конечно же, просто. Как, собственно, все гениальное. Правильно говорила сестра.

«Как странно, – думала Элла, засыпая на плече любимого мужа, – я ведь так давно ничего не ждала. И даже перестала сетовать на судьбу. Мне казалось, что я... Ну, не то чтобы недостойна, нет. Просто все *это* не для меня. Есть же женщины, проживающие свою судьбу без мужчин, одиноко. И красивее меня, и моложе. Мой удел – это родители и работа. Все. И это, кстати, совсем не так мало. Разве я прожила не счастливую жизнь? Я не была одинока – как бывают одиноки люди. Совсем одиноки, без семьи, без родных. Без любви. А я – я любила. Всех своих близких. Я была им нужна. А теперь... Теперь, когда есть Валерий. Семья. Я снова нужна. Только теперь – ему, мужу. Как странно все, как же все странно! И самое странное – что он выбрал меня. Таковую... ну, если по-честному, совсем никакую. На меня никогда не смотрели мужчины. Ни разу я не поймала на себе чей-то взгляд – ну, из тех, что с мужским интересом. А вышло вот так!»

Звонок от сестры раздался в ночи. Они тут же проснулись и испуганно посмотрели друг на друга – ох уж эти ночные звонки. Никто не ждет от них ничего хорошего.

Спросонья Элла не сразу поняла, почему так громко и отчаянно кричит Эмма.

– Что-что? – переспрашивала она. – Повтори! Я не расслышала!

И Эмма снова кричала.

Потом стало ясно – беда! Эмма больна, и больна тем ужасным, самым кошмарным из всего, что только возможно. Онкология.

Операцию сделали, да. И курс химии она уже приняла. Но самое ужасное в том, что Эдик пьет, и пьет страшно. Напивается с раннего утра и к вечеру совсем сходит с ума – разбил комод, в крошку разбил диван. Сорвал бра и... даже говорить не хочу – ужасно и стыдно. Мочился на ковер в гостиной! Ты представляешь?

Ей, Эмме, совсем плохо – слабость такая, что передвигается она только в коляске... так она ее назвала. Медсестры и домработницы бегут от них на следующий день – боятся хозяина. Дом в разрухе, сад изломан и истоптан. В доме пахнет мочой. Она сама ничего не может – отдыхает только в госпитале на химии. А дом – не просто ад, а ад крошечный! «Ты меня поняла? – продолжала кричать она. – Я погибаю тут, Элла!»

– Господи, почему ты молчала? – бормотала Элла, холодея от ужаса. – Почему? Я бы приехала к тебе, помогла... Ну, и он, Эдик, возможно, постеснялся бы... Ну, хотя бы при мне?

– Какое – приехала? Ты что, идиотка? Он совсем чокнулся. Родную дочь не пустил! Даже во двор не пустил, не то что домой. А уж тебя бы – тем более. Он сумасшедший, ты понимаешь? Он пил всегда, а после моей болезни сорвался совсем.

– Господи, а что делать? Что делать Эмка? Тебя же надо спасти? А полиция? – вдруг осенило ее. – Полиция не может помочь? Пусть отправит его в госпиталь или куда там у вас...

– Он не такой дурак, как ты думаешь! – желчно рассмеялась Эмма. – Он меня шантажирует. Говорит, что не оплатит страховку. А без нее я тут же загнусь. Понимаешь? Деньги все у него. У меня на счету копейки. Да, я все тратила. Да! Но я же не знала, как все повернется!

– А делать-то что? – спросила Элла. – Что мне надо делать?

– Спаси меня, Эллка! – всхлипнула Эмма. – Я еду домой.

Муж смотрел на нее внимательно, сдвинув брови.

– Что там? – коротко спросил он.

– Эмку надо спасти, – так же коротко ответила Элла. – Причем срочно. Ты слышишь?

Муж молча кивнул.

Эмму встречали через неделю – на Ленинградском. Проводник выкатил маленькую, очень компактную инвалидную коляску, в которой сидела сухонькая, сморщенная старушка.

– Эмка! – крикнула Элла и бросилась к сестре.

Плакали долго. Валерий Михайлович, отвернувшись, курил в стороне.

Потом наконец успокоились и поехали к выходу. Вещей было мало – два небольших чемодана.

– Все, что я нажила! – горько, с усмешкой, сказала Эмма. – Взяла только личные вещи – ничего не дал взять, ничего! Да и бог с ним – точнее, черт. Пусть подавится. Да и что мне теперь надо? Сегодня это кресло, а завтра – саван. Жить мне осталось, – она усмехнулась, – чуть-чуть. Я тебя, – тут она скривилась и хлюпнула, – долго обременять не буду. Совсем немного, поверь!

– Все будет хорошо, – горячо убеждала ее Элла, – вот увидишь. Я вытащу тебя из этого, слышишь? Да и врачи у нас тоже прекрасные есть. Есть прекрасные врачи, ты меня слышишь?

Эмма усмехнулась:

– Не суетись. Все это – вряд ли. И твои прекрасные врачи в том числе.

Добрались до дома.

– Ну и пробки у вас, просто Нью-Йорк! Сумасшедший город, ужас какой-то...

На второй этаж коляску затаскивал Валерий Михайлович.

Эмма зорко рассматривала его, а потом удивленно посмотрела на сестру.

В квартире она хмыкнула, скорчила гримаску и пробурчала с неудовольствием:

– Ну, понятно. Все то же, все те же!

Муж с удивлением посмотрел на Эллу. Та поспешно отвела взгляд.

– Обедать! – объявил он.

Эмма опять скривилась.

– Нет, я не буду. Почти совсем не ем – нет аппетита.

– А борщ? – расстроилась Элла. – Специально для тебя варила. С фасолью и черносливом!

Борщ Элла все же съела, съела еще и куриную ножку, и пару картошин, и соленый огурец.

Потом попросилась спать – ну, это понятно, человек с дороги, устал. К тому же – больной человек. Очень больной.

У Эллы просто сердце разрывалось.

Вечером Эмму подняли на третий, к отцу. Он не сразу узнал ее, а когда узнал, начал плакать.

Плакали все, даже невозмутимый и стойкий полковник хлюпнул носом и вышел из комнаты.

Потом они спустились к себе, а Элла снова поднялась к дядьке – обычные процедуры перед ночью – памперсы, таблетки.

Он внимательно смотрел на племянницу, а потом вдруг сказал:

– Гони ее, Элка! Гони!

– Кого? – не поняла та и, хлопая глазами, уставилась на дядьку. – Кого, дядя? Кого?

– Дочь мою. И твою сестру, – хрипло ответил старик. – Гони ее в шею!

– Ты что говоришь? – опешила Элла. – Кого гнать? Эмку? Нашу Эмку – и гнать? Больную, несчастную Эмку?

– Гони! – сурово повторил старик. – А то она... снова тебе жизнь ломает. Ты что, совсем дурочка, Элка?

«Выжил старик из ума, – думала Элла, спускаясь по лестнице, – да все понятно – и возраст, и обида на дочь...»

Она вздохнула, вошла в квартиру. Муж на кухне читал газету.

– Ну, как? – спросила она. – Спит?

Муж усмехнулся.

– Да спит. И думаю – крепко.

И снова начались больницы. А между больницами был ад. Эмма кричала, требовала, скандалила и ругала сестру. Все ей было не так и не эдак. Ей было то жарко, то холодно. То душно, то воняло помойкой из окон. Ей не нравилась рыба, курица, овощи и все остальное. Ее раздражали обои, светильники, медсестра и телевизионные программы – для тупых идиотов.

Она будила сестру среди ночи, требуя то воды (стакан с водой стоял у кровати), то горшок, то окно – закрыть или открыть.

Утром у нее было отвратное настроение из-за плохого сна. Днем она спала долго, а проснувшись, жаловалась, что голова чугунная, и настроение снова было ужасным. В десять часов вечера она могла попросить апельсиновый сок: «Только не из пакета, а из живых апельсинов!»

Ей не нравилось все и всегда – люди, еда, фильмы, собственная сестра и ее новый муж.

Вдруг она захотела в бассейн, и они стали возить ее туда. Все это было очень сложно, очень. Коляска, отсутствие лифта, погрузка в машину. Бассейн, сборы домой. И постоянное нытье, что она устала и ехать надо быстрее. «Валерий, ты что, первый день за рулем?»

– Наглая баба! – однажды сказал муж.

– Что? – Элла опешила – Ты что такое сказал, Валерочка? Она тяжелобольной человек. Большой и несчастный. Вся ее жизнь рухнула в пропасть. Ты понимаешь?

Муж усмехнулся.

– А теперь она наблюдает, как рушится в пропасть наша с тобою жизнь. И наблюдает, надо сказать, с удовольствием!

Элла застыла.

– И это... говоришь ты? Ты – самый порядочный, самый верный. Самый добросердечный?

– Я порядочный, Элла. Конечно, порядочный, – тут он задумался и замолчал. – Думаю, немного найдется людей, считающих меня отъявленной сволочью. Но, Элла! Самая порядочная и самая верная у нас все же ты. И она, твоя сестрица, это отлично знает. И все же – задумайся, Элла! Наша жизнь принадлежит теперь только ей. Мы без нее ничего не можем – ни побыть вдвоем, ни пойти в кино, ни уехать в отпуск. Везде она. Всюду она. Она манипулирует тобой, а ты это терпишь. А у тебя, между прочим, семья. Но ей наплевать. На тебя – в первую очередь! Про меня она вообще не думает – меня просто нет. Или я есть только тогда, когда нужно ехать в бассейн или к врачу. Ладно, лично мне все равно. Но я не могу спокойно смотреть, как она уродует твою жизнь, Элла! Наша жизнь превратилась в ад. В ад кромешный! Ни ночью, ни днем нам нет покоя. Она, твоя милая родственница, с нами везде – зримо или незримо. И еще, Элл. Я, честно, не знаю. Вернее, никак не пойму. Ты, Элка, святая? Или, прости меня, дура?

И он замолчал. Молчала и Элла. Она сидела на стуле, опустив голову, и по ее щекам текли слезы.

– Что же нам делать, Валерочка? – еле слышно проговорила она. – Что же нам делать?

Он тяжело вздохнул, прошелся по комнате, постоял у окна и, не поворачиваясь к жене, твердо сказал:

– Что-то решать, Элка. Надо что-то решать.

Он снова замолчал, потом подошел к ней, подвинул стул и сел ровно напротив.

– Милая моя! Она ведь... погубит! Все погубит, что есть. Сначала выживет меня. Потом доконает тебя – выпьет все соки, выжмет как тряпку.

Элла мотнула головой.

– Это все слова, Валерочка. Я... не могу... куда-то ее деть. Понимаешь? Сдать ее в пансионат? В хоспис? Куда? Уйти и оставить ее? Ее и дядьку? Она ведь... не сможет себя обслужить!

– Ты в этом уверена? – усмехнулся он. – У нее сейчас стойкая ремиссия. Так говорят врачи. На год она отпущена на волю. Пусть привыкает. Пусть привыкает жить одна и ухаживать за собой. Хотя бы за собой, Элла!

– И что дальше? – тихо, одними губами спросила она.

– Дальше? Да как ты захочешь. Переедешь ко мне. Будем по-прежнему ходить за Ильей. Или – так, наверное, будет проще, – заберем его к себе. Его квартиру можно сдавать. Плюс аренда квартиры сестрицы. И этого вполне хватит на сиделку для мадам. Самую лучшую, надо сказать. Или даже вот так – она едет обратно. В Финляндию. И уходит там в... в этот самый пансионат. Для больных стариков. У нее есть гражданство, а это значит, что право на это она имеет. А уж там социальные службы – не нашим чета!

– Я... подумаю, – ответила Элла, – до завтра, ладно?

Он кивнул, развел руками и сказал:

– Разумеется! Даже невесте дают пару дней. А ты, Эллка, жена!

У двери он обернулся.

– Я поеду к себе, Эл. Не возражаешь? А завтра – звони!

Она так бы и сидела до вечера. Словно в забытьи, в полусне.

Очнулась от окрика Эммы – как всегда, резкого и требовательного.

Тут же вскочила, побежала к ней в комнату, засуетилась, захохотала, закудаhtала, словно наседка:

– Поесть? Попить? Погулять? Памперс? Включить телевизор?

Эмма капризничала, ругала сестру за неловкость. Потом сильно обидела ее, и Элла выскочила за дверь.

Она слышала, как сестра включила телевизор – на самый громкий звук, наплевав на соседей, отца и сестру – было уже хорошо к полуночи.

Элла пришла к себе, сняла халат и легла. Не спала до зыбкого, серого рассвета. Нет, Валера абсолютно прав. Так больше нельзя. Она убивает меня. Я это просто чувствую! Вытягивает мои последние силы. Нет, все не так! Я была бы согласна на все. Если бы... если бы не ее натура. Ее паскудная, надо сказать, сущность и ее существо. Она выживала моего мужа – методично и целенаправленно. А он ей ни в чем не отказывал! Он ей не нужен – он раздражает ее. Он нужен ей как водитель, прислуга – не больше. Впрочем, ей все нужны как прислуга. И она своего добилась – она его выжила. Ну, какой мужик, даже исполненный благородства и жалости, будет терпеть такое? Даже от жены не всякий будет, а тут – просто родня. Да и то – не его.

А мне... Мне надо спастись. Спасать себя и свой брак. Любой вариант – Финляндия, Москва. Пансионат или сиделка – любой! А у меня – семья, муж. Я никогда не жила так, как хотела. Как жила она – всю свою жизнь. На всех наплевав. А я буду спасать свою жизнь. И своего любимого мужа. Нет, конечно, я всегда буду рядом, если во мне будет нужда. Я не отказываюсь от нее – ни на минуту. Но будет так, как я... мы... решили!

Она так и не уснула – встала в шесть, выпила таблетку от головной боли, потом чашку крепкого кофе, наплевав на давление, – необходимо прийти в себя. Разговор будет сложным и, разумеется, долгим, а ей надо хорошо соображать, аргументировать. Объяснить. Просто

все объяснить. Эмма же умный человек. И совсем на такой уж плохой. Просто... жизнь так сложилась.

Я же не предаю ее. Я все сделаю так, как захочет она!

Она заглянула к сестре – Эмма спала, и спала, по-видимому, крепко – чуть приоткрыт рот, лицо спокойно и разглажено, дыхание равномерно.

Она смотрела на нее, и сердце сжималось от жалости, тоски, страха и еще... от любви.

Разговор был коротким – совсем не то, что ожидала Элла.

Перебив ее после первых трех предложений, Эмма широко открыла глаза и тихо, но четко спросила:

– Ты бросаешь меня, Элик? Ты от меня уже отказалась?

Элла стала горячо убеждать ее в обратном, пытаясь найти все более весомые аргументы, но сестра отвернулась, и было только слышно, как она тихо глотает слезы.

Потом она повернулась, посмотрела Элле в глаза и сказала:

– Ты предала меня, Элка! Просто банально предала. Вот и все. Ты выбросила меня на помойку. И правильно сделала. Зачем я вообще? Кому я нужна? Старая рухлядь. Больная корова. Обуза и тягость! Видишь, я даже тебе не нужна. Да что говорить – я себе не нужна! Нет, ты права. На свалку меня, ты права. А ты – будешь жить. Кому же, как не тебе, дорогая!

И заплакала крупными хрустальными девическими слезами. А потом, минут через пять, вдруг остановилась и посмотрела на Эллу:

– Я поняла, Элик, я все поняла! Конечно же, муж – аргумент весомый. Сколько ты с ним? Пару лет? А-а! А нам с тобой, Элка? И все эти годы...

– Не все, – заметила Элла.

– Да все! – махнула рукой сестра. – А что там у меня было – так никто же не знает всей правды. Я жила с алкоголиком. А ты знаешь, что это такое?

Потом она закрыла глаза и сказала:

– Я очень устала, Эл. Я все поняла. Завтра скажу тебе, что я решила. До завтра я могу побыть здесь? У тебя?

Анна Васильевна Маковкина, жившая в том же доме в Черемушках, где всю жизнь прожила и Элла, пожалуй, последний, самый древний старожил, глядела в окно, радуясь, что квартиру тогда, в шестьдесят шестом, они получили на первом этаже. Красота – все видно и всех. Анна Васильевна была уже почти неходячая – подвели ноги, заразы! Видать, больно много бегала в жизни. На улицу ей теперь путь был заказан – ох, а как же она любила выйти на лавочку у подъезда! С раннего утра, невзирая на погоду (если холодно – оренбургский платок и драповое пальто), а уж если тепло! – она открывала окно и глядела во двор. Жильцы и гости входили в подъезд, выходили, бежали к остановке или неспешно шли по своим делам. Анна Васильевна всех, разумеется, знала. А как же – сколько лет здесь прожила, и сосчитать страшно! Те, кто был из своих, приветствовали ее по-разному – пожилые доброжелательно, справляясь о здоровье. А молодые – раздраженно. Сидит бабка в окне и ко всем пристает! Любопытная бабка. Противная.

Некоторые, например пенсионеры, свободные люди, могли обсудить с Анной Васильев-ной и погоду, и новости, и, конечно же, сплетни.

В этот день хоронили соседа. Доложила дочь Людка: соседа с третьего этажа – старика.

– Илюшку, что ли? – ахнула бабка. – Ну и дела!

Людка бросила злобно:

– Ах, какие события! Деду сто лет. Ты, мам, прям удивилась!

– Не сто, – возразила Анна Васильевна, – он еще молодой. Моложе меня!

– Ага! – злорадно подхватила дочь. – Пацаненок! Жених! Молодец!

Анна Васильевна спорить не стала – Людка была бабой вредной, но смотрела за ней хорошо. Грех и пожаловаться.

Она махнула рукой и подалась вперед – не пропустить бы чего. Похороны ведь! Событие, так сказать. Для нее – почти мирового масштаба.

Народу было совсем немного – Элла, племянница. Которая за Ильей и ходила. Еще пара соседок-старух, какой-то дед – весь в медалях. Родня? Бывший сотрудник? И немолодой седой мужчина – лицо-то знакомое, а вот кто? А, Элкин муж! Бывший в смысле. Пожили они недолго и разошлись. А вот подмогнуть пришел! Значит, приличный человек, не скотина.

Гроб с Илюшкой стоял на табуретках – люди прощались. Анна Васильевна тоже было хотела. Да Людка как гаркнет:

– Сиди! Отсюда простишь – сделай ручкой. И смотри не выскочи из окна! От любопытства.

Нет, стерва, конечно. Да черт с ней. Чего ее слушать?

Анна Васильевна высунулась уже по пояс и окликнула Эллу:

– А че дочки-то нет? В смысле – Эмки?

Элла вытерла красные, заплаканные глаза и сказала:

– Трудно ей. Сама нездорова. А тут... на такое смотреть!

– Трудно, – хмыкнула бабка Анна, – ишь, фифа какая! Не проводить отца – где это видано?

Еще она услышала – а может быть, показалось? – как Элла сказала бывшему мужу:

– Прости меня, Валера!

А тот отвернулся и только махнул рукой. Простил? Или нет? Интересно!

Потом подъехал ритуальный автобус, гроб с Ильей погрузили, и – ту-ту! В дальний, последний, так сказать, путь. Пухом тебе, Илюшка, земля! Отмучился парень.

В любую погоду Анна Васильевна по-прежнему торчала в окне – на боевом посту, как шутили соседи. В двенадцать дня, ну, или чуть позже Элка со второго выкатывала кресло с сестрой.

Та что-то недовольно бурчала, но сестра тщательно проверяла, застегнуты ли пуговицы на ее куртке, поправляла ей шарф, укутывала ноги старым пледом и везла ее в парк. Воронцовский парк теперь был красавцем – цветы и скамейки, дорожки и фонари. Мамки с колясками, влюбленные парочки. Эх, красота! Жаль, ноги не ходят. Идти до него – с полчаса. Да разве эта стерва Людка попрется? Да и коляска старая, совсем развалюха. Не то что у этих... Сестричек.

Элла с трудом сдвигает коляску с места и – в путь. А это в гору, между прочим.

Возвращаются они через пару часов – но Анна Васильевна в это время обедает. У нее на посту перерыв. На обед гороховый суп. Отличный, с копченой рулькой. Молодец, Людка! Умеет сварить.

Видит так, краем глаза – приехали! Прибыли в смысле.

Гулко хлопает входная дверь, тяжело скрипят пружины – и Элла тащит коляску вверх.

Но Анне Васильевне уже не до них – после обеда ее клонит в сон. Дочь провожает ее в комнату и помогает улечься.

Засыпая и чуть похрапывая, она думает о соседках: «Вот ведь семья! Всю жизнь – друг за друга. Братья, снохи... Вот старики воспитали! И эти, сеструхи. Детей не родили, семей не сложили, а вместе. Всю жизнь. Всю жизнь на подмоге! Кровь не водица, как говорится. Сильная вещь... А я, старая дура, второго родить побоялась! Время ведь такое было – эту бы поднять, обути, накормить, дуру свою, Людмилу. А зря. Зря я боялась. Вот помру – и кто рядом с Людкой останется? Муж? Да где он, тот муж? Давно у бабы другой. Сын? Мой внучок? Так и этого нет – сидит в Краснодаре и в столицу обратно не хочет: там сад, там хозяйство. Жена и детишки. Женина родня – и он там прижился...»

– А Людка? Вот если помру... – бормочет старуха и громко вздыхает: – Ох, надо бы было. Сестричку. И душа была бы спокойна!

Зря. Зря не сподобилась. Такую б, как Элка... И все – можно и кони двинуть. Уж нажилась... Так нажилась, что... Нет, врет! Врет ведь себе самой! Пожить еще хоцца! Еще бы чуток. А что? Жизнь только сейчас стала сытая и спокойная – живи не хочу! Не надо ходить на завод – будь он проклят, – с утра, в пять пятнадцать! Не надо думать о деньгах. Пусть думает Людка. О внуках не надо – где они, эти внуки? И муж-кровопийца давно «отдыхает». Пусть спит спокойно – давно все простила. А вот что второго не родила – жаль. Возились бы девки вместе – как эти, соседские. Всю жизнь! Нет, Людка, стерва, – она не возилась бы. Порода не та. А вот другая – ну, та, что не вышла, – та бы возилась. Ну, если б, конечно, была вроде Элки. На таких все и держится!

Мир стоит на таких. Вон как эта скрутила ее, на коляске. Скрутила в виток, в хвост поросычий – и ведь не отбрешешься.

Так и будет таскать ее, инвалидку, до смерти. Только вот непонятно – до чьей?»

Анна Васильевна шумно вздыхает, кряхтя, тяжело переворачивается на правый бок и... И почти тут же, расстроенная, засыпает. И очень громко храпит.

И спится ей сладко – на сытый желудок. Хорош был гороховый суп. Ох, как хорош!

Умница Людка. Хотя стерва, конечно.

А жизнь была совсем хорошая...

С самого раннего утра – привычное время для рабочего человека – из радиоточки неслась громкая музыка. Иван Иванович домашних своих в этот день не щадил – праздник! Да еще какой – самый светлый и самый любимый. Первое мая! День солидарности трудящихся. А уж семья Кутеповых к трудящимся относилась определенно.

Глава семьи, Иван Кутепов, был строителем первого разряда, монтажником-высотником. Ленинский проспект, широченный светлый новорожденный красавец, имел к нему непосредственное отношение. Не один дом из желтовато-розового кирпича построил Иван Кутепов. И жена его, Ольга Степановна, тоже из «своих» – маляр-штукатур и тоже бригадир, между прочим. Любимая жена и мать его детей – двух дочек, Маруси и Валюшки, умниц и красавиц. Таких красавиц, что даже родители удивлялись – не девки получились, а принцессы сказочные. Хороши как на подбор, обе.

Маруська в Иванову родню – белобрысая и синеглазая. Только глаза как озера – огромные, бездонные. И льняные локоны вьются по плечам – такая вот красота. Мать, конечно, локоны эти непослушные в тугую косу... Но на висках и на нежной шейке плетут они свои соблазны, плетут.

А Валюшка – чернявая, в Ольгу. Волос тяжелый, густой. Цыганский такой волос. И глаза цыганские – без дна. Посмотришь, и страшно становится, не по себе. Точно в омут заглянул. И брови богатые, шелковые. Не иначе как табор мимо Ольгиной деревни проходил.

Девки – погодки. Дружные, хотя всякое случается. Но жить друг без друга не могут – как ни крути. Погавкаются, потявкаются, поворчат, матери пожалуются – а через полчаса снова вместе. Шушукуются.

Квартира у Кутеповых большая. Огромная даже. Мечтать о такой разве что в сладких снах... И это после всех мытарств, общежития, бараков, холодных и продувных. А что, заслужили! Через долгих тринадцать лет получили Кутеповы свои хоромы. И никто, между прочим, не возражал. Ни одного слова! Все на собрании Ивана Кутепова поддержали: кому, как не ему. Передовик, стахановец. Непьющий и некурящий. В семье лад, жена отличная, тоже не из последних на стройке. Девульки подрастают – славные такие! Отличницы. Да и намаялись они по полной. Все прошли – безденежье, трудный быт. Потому и заслужили – трудом праведным и таким же поведением. Уважали Ивана на стройке. И даже парторгом выбрали – тоже, кстати, единогласно. Главный инженер Крюков так и сказал: «Ты, Кутепов, у нас человек безупречный». А слова эти дорогого стоят. Всей жизнью надо такие слова заслужить.

Иван подкрутил радио и открыл холодильник. Красота! Расстаралась любимая Олюшка. «Умница моя», – довольно подумал он. А как же иначе? Вечером гости придут, друзья, родня. Соловьевы, Путилкины, Кротовы. Это – коллеги, так сказать. А из родни Курочкины нагрянут. А их человек шесть. Родня неблизкая, но все же. В холодильнике плотно, рядком, стояли судки с холодцом, миски с салатами, разделанная селедочка с зеленым лучком, фарш на котлеты. А на широком подоконнике, на больших тарелках, прикрытые белоснежными вафельными полотенцами, выпедают крутыми боками пироги – с мясом, капустой и яблоками – к чаю.

На кухню, позевывая, вышла Олюшка.

– Вань, – упрекнула она, – ну что ты, ей-богу! Орет с утра, не приведи господи. Пусть девчонки поспят.

– Нечего, – обрубил Иван. – Спать будут ночью. А сегодня – праздник. Красный день календаря! Пусть поднимаются и собираются по-быстрому. – Он кивнул на часы: – Полседьмого уже! А в семь надо выйти.

– Опоздаешь, – покачала головой жена, – вот прям опоздаешь! – И принялась накрывать на стол.

– Не опоздаю, – возразил Иван, – потому что опаздывать не имею права – я в голове колонны. Как я могу? – продолжал возмущаться он.

Ольга ничего не ответила – а что, прав. К тому же спорить с мужем она не любила. Ни к чему. Только уж в самых крайних случаях. А так... Не на спорах семья держится, а на добром мире и согласии. Это она давно усвоила. Да и характер был у нее хороший. Покорный. И мужа она уважала – да и к чему собачиться? Кому от этого хорошо?

Иван Кутепов, глава дружной семьи, распахнул без церемоний дверь в комнату дочек и громко гаркнул:

– Подъем! Подъем, лентяйки! А то... – И безжалостно распахнул настежь окно.

Девчонки поежились – утренний первомайский ветерок явно не напоминал жаркое лето – и натянули на носы одеяла.

За завтраком крепко сбита Маруся вовсю уплетала яичницу с бутербродами, а тощая Валюшка брезгливо ковырялась в тарелке.

– Ешь давай! – прикрикнула на нее мать. – Ишь, разбирается!

Валюшка скривила гримасу и отодвинула тарелку – наелась.

– Вон, – с усмешкой кивнула на сестру, – эта... Скоро будет как бомба.

Маруся показала язык:

– Пока толстый усохнет, худой сдохнет.

И тут же получила подзатыльник от отца. Справедливо.

Нарядились – Ольга в новом платье в цветочек и новом плаще, Иван в парадном костюме и при галстук, и девчонки в обновах – светлые туфельки, красные пальтишки. На головах – белые банты. Одним словом – красота!

Вышли из метро, увидели своих и влились в колонну. Зашагали бодро и весело. Из репродукторов рвалась музыка, развевались красные флаги. Люди несли знамена и транспаранты. В руках у детей пестрели бумажные цветы невообразимой красоты и размеров – еле удержишь. Кутеповы шли рядом, плечом к плечу – молодые, стройные, нарядные. И счастливые. Очень счастливые! А такое не придумаешь и не сыграешь – такое видно невооруженным глазом. В смысле – радость и истинное счастье. Счастье честного, порядочного, трудящегося человека.

После демонстрации отправились напрямик домой. Проголодались и слегка промерзли – не лето на дворе, а только начало весны.

Уселись за богато накрытый стол и подняли первую рюмку. За Первомай, разумеется! Остальное – потом.

* * *

Иван Кутепов приехал в столицу в шестидесятых из далекого приволжского села. Приехал один, и было ему так тоскливо и одиноко! Отпустили его неохотно – да и понятно: старший сын, основная надежда. После него еще две сестры, проку с них... Только рвался Иван в Москву – не удержишь! Ни на комбайн, как батя, садиться не хотел, ни в агрономы. Сельский человек – до мозга костей, а рвался в город, на стройку. Мать, женщина суровая, долго молчала и на сына обижалась. Невесту ему нашла – соседскую Нюру. А он на эту Нюру и смотреть не хотел – не нравилась. Совсем не нравилась. И в коровник не хотел, и в огород. Нет, родину свою малую он любил – куда ж без этого? И лес любил, и рыбалку на зорьке. И речку тихую, мелкую, в синюю рябь. А в город тянуло. Да так, что с родителями поругался, собрался да и уехал. Написал, правда, сразу, как в столицу шумную прибыл. Подробный отчет. Потом ничего, сгладилось – после первого отпуска. Привез подарков родне, матери платок и отрез, бате рубашку китайскую в клетку. Сестрам конфет и духов.

Смирилась родня – а куда деваться? А что рвалось материнское сердце... Да кому до этого дело?

Первую койку дали в общеаге на краю света. В комнате шесть человек. Все свои, деревенские. Все хотят не просто заработать – хотят в столице остаться. Чтобы сделаться москвичами. А это не трудно, но не быстро – сначала прописка временная, на пять лет. А потом – постоянная. И еще положено жилье – комната в общежитии или, если повезет, – в коммуналке. А это уж совсем свое!

В общежитии было весело и мирно – приходили со смены и падали на кровать как убитые. Не до пьянок по будням и не до гулянок. А в воскресенье уже могли и расслабиться – девчонки жарили готовые котлеты, доставали квашеную капусту, присланную деревенской родней, и накрывали столы. Кто-то играл на баяне, пели песни и танцевали – нелепый иностранный городской фокстрот и знакомый всем деревенским вальс. Там он и встретил Олечку Сидорову, которая и стала его первой и самой большой в жизни любовью. И кстати, единственной и навсегда.

Потом была семейная комнатуха в той же холодной общеаге, потом восьмиметровка в коммуналке в Люберцах, а уж потом, когда родились девчонки, управление выделило хоромы на Ленинском.

Ух, как же они были счастливы тогда! Когда впервые зашли в эту светлую, огромную по их представлениям, сказку. Две комнаты – отдельные! Окнами на проспект. Кухня восемь метров. Ванная и туалет. А прихожка! Распахнули блестящие от свежей краски рамы, и ворвался в комнату ветер – свободы, счастья и молодости! Приезжала погостить мамаша – батя к тому времени помер. Ходила по квартире и качала головой – удивлялась всему. Белоснежной раковине, кухонной мойке, горячей воде, бегущей из сверкающего крана. Унитаз трогала руками, паркет. У окна замирала – дух захватывало. Такая красота! Машины шуршат шинами, огни... Напротив гастроном. А там! Никогда она такого добра не видела! И сколько! Что в деревенском магазине? Масло разливное, конфеты-подушечки в сахаре, макароны серые – и то праздник.

Ольга покупала свекрови торт «Сказка» и снимала цукаты – ешьте, мама! Такого дома не будет. И окорок покупала – «Тамбовский». Мать жир с краев на черный хлеб, а розовое, со слезой, мясо – девчонкам, внучкам. «Сало мне знакомее», – говорила.

Все от себя отрывала – всю жизнь. А когда совсем разболелась – от возраста, – Иван хотел ее навсегда забрать: здесь медицина, врачи. А мать отказалась. «Ты, – говорила снохе, – самая хорошая, лучше не бывает. А все равно – сноха. Не хочу быть у тебя приживалкой. Буду жить при родной дочери. Та хоть и стерва и рядом с тобой – никто, а все же дочь. Если прикрикнет и заругает, я не обижусь. А на тебя зло затаю». И уехала. Мудрая была, хоть и неграмотная. А сыну сказала: «Прав был, что уехал от черной работы. Хоть и здесь пашешь, зато жизнь видишь. В кинотеатры ходишь, в Парк культуры. А в деревне – только труд и водка. Все. Никакого просвета. Вот и батя сгорел – молодой. Пятьдесят пять – разве возраст?»

Обжились понемногу. Холодильник купили, люстры, ковер. Потом и на мебель собрали – зарабатывали хорошо оба. Девчонки в яслях выросли, слава богу, крепенькие были, сопли подхватят, носом пошмыгают, а группу не пропускают.

В санатории были. В Крыму и в Подмосковье. По Волге плавали на теплоходе. В Ленинград съездили – самим посмотреть и девчонкам показать. За грибами ездили, зимой на лыжах. Коньки девчонкам купили – фигурные. Те в ЖЭКе занимались, с тренером. Фигуристки! А ничего пируэты крутили! Иван с Ольгой стояли за заборчиком и диву давались. По субботам – в кино. Там в буфет – газировка, пирожные. Красота, а не жизнь!

И такую вот красоту построил Иван Кутепов. Своими крепкими рабочими руками. Не только дома у него выходили. Все остальное – тоже дай бог! Дай бог, чтобы и у другого хорошего человека – хоть кусочек такого счастья. Хоть граммалечку! И еще – когда по радио зву-

чала замечательная песня «Я люблю тебя, жизнь», у Ивана Кутепова слезы на глазах закипали – искренние слезы счастливого человека. Потому что он и вправду очень любил эту прекрасную, честную и счастливую жизнь. Всей своей чистой и справедливой, щедрой и открытой русской душой.

И с женой, Ольгуней, тоже было как в сказке. Даже неловко порой от такого счастья – неловко отчего-то и... чуть-чуть страшновато.

Ни в чем Ольгуня не перечила, потому что доверяла мужу. Ценила его и уважала. Со всем соглашалась: «Да, Вань, как скажешь!» «Да, Ванюша, ты прав». Не спорила и в бутылку не лезла. И дом вела замечательно – пекла, варила, закатывала. И матерью оказалась прекрасной – строгой и справедливой. Нежная была женщина. Вкусная, ох! Ничего не пропало с годами – только сильнее стало. Как прижимался ночью к родному телу, так сердце и замирало, и дух перехватывало.

Такие дела. Впрочем, Иван Кутепов твердо знал – живи честно, чтобы не стыдно было перед людьми. Трудись с полной отдачей. Уважай и цени друзей. Не зарывайся. Не делай плохого другому. Будь верен жене, вкладывай свою правду в детей. И самое важное – личным примером! Вот это и есть основа. Не станет плохим человеком твое дитя, если будет расти в любви, верности и порядочности. И еще – в труде.

Выпили за праздник, за рабочий класс, за партию. Потом – тост за женщин – как без него! Наелись, попели, повели разговоры – за жизнь, разумеется. Женщины принялись убирать со стола, мужчины ослабили галстуки и закурили. Вера Кротова, Ольгина подруга и жена Ваниного друга, вытирала тарелки и задумчиво глядела в окно.

– Оль, – тихо сказала она, – а девки-то у вас... Хорошеют!

Ольга радостно кивнула – как тут не согласиться? Красивые дочки – загляденье. Ладные, толковые. Ленивые малость – ну, с годами пройдет этот грех. Потому что балованные – все у них есть, всего вдоволь. Не то что в ее юности в деревне. Коровник, огород, резиновые сапоги и грязь по колено – почти круглый год. Не хотела она такой участи для своих девок, не хотела. Вспоминала, как бабы женскими делами мучились – побегай в стужу на двор. Нет, пусть ее девки под горячей водой плещутся.

Вера задумалась:

– А ведь глаз да глаз нужен! Яркие девки, бойкие. Москвички – одно слово.

– Москвички, – согласилась Ольга. – И что плохого? Жизнь только будет полегче. И покрасивее! Не то что у нас, Вер!

Вера задумчиво подперла голову рукой.

– Наверное. Только Москва эта... Соблазны одни. Как бы не сбились!

– Да с чего? – рассердилась Ольга. – С чего им сбиваться? Учатся, в кружки ходят. Отметки хорошие. Валюха вон по лыжам в районе первая! Не грубят, за хлебом бегают. Что попросишь – помогут, не отказываются. И в семье у нас... Ну, сама знаешь! И Ваня с ними строго, и я поддам, если надо! С чего им сбиваться? Да и нет у нас в родне вроде «сбившихся»!

– А где тебе сбиваться-то было? В Прохоровке твоей? Да там одни старики и алкаши остались. Навоз по колено да картошка мешками. А тут ты сразу за Кутепова выскочила. Время у тебя было на всякие глупости?

– Свиныя всегда грязь найдет – если захочет, – сурово бросила Ольга, – и в селе, и на хуторе. И не в столице тут дело!

– Как раз-то в ней, в столице. Соблазны такие! Куда ни глянь. И мужики разные – не все как твой Ваня. Разные, Оль! Это ты их не видела. А я повидала.

Ольга с удивлением уставилась на подругу.

– И что, не понравилось?

– Да просто выводы сделала – вот и все. Только мне тогда уже двадцать было, а девкам твоим поменьше.

– Это ты к чему? – нахмурила брови Ольга. – К чему разговор этот дурацкий затеяла?

Вера пожала плечами.

– Да ни к чему. Просто вспомнила свою жизнь. Да и на девок твоих залюбовалась. И связала все вместе.

– А ты развяжи! – грубо ответила мягкая Ольга. – Вспоминай свою жизнь про себя. Я вроде не любопытствую.

Вера вздохнула и вышла из кухни, а Ольга еще долго стояла у окна и смотрела на улицу. Пока ее не окликнул удивленный муж:

– Про чай, хозяйюшка, позабыла?

Она мотнула головой, подхватила чайник с заваркой, порезала торт и поспешила к гостям.

На лице улыбка, а в душе... мутота одна и чернота. Стерва эта Кротова. Стерва. Разве подружки так поступают? Сердце материнское бередают? Да и какие у нее поводы? Завидует просто – вдруг осенило Ольгу. Конечно, завидует! Не все у нее с Кротовым складно, известно всем. И родить никак не может. После пяти абортков.

А кто, спрашивается, виноват?

На лето поехали в деревню – к Ольгиной родне. Мать была еще в силах, держала и скотину, и большой огород. Валюшка с Маруськой деревню любили – да и бабка их не мучила, жалела. Уезжая, Иван, зять любезный, строго теще наказывал – девкам спуску не давать! Загружать по горло! Чтоб помогали – и за скотиной, и в саду. И в избе прибирались. Только она зятю не стала слушать, отмахнулась – сами разберемся. Пусть девки отоспятся, молочка парного попьют вволюшку. В лес по грибы ходят. А с хозяйством она управится – не впервой. И на танцы девок отпускала – а когда гулять, как не по молодости? Когда вволюшку потешить? Молодость, она быстро пролетит – не заметишь и за хвост не поймаешь. А там – дети, муж, хозяйство. Бабская доля не из простых, знаем!

Валюшке исполнилось тринадцать. Маруське четырнадцать. И распустились они точно майские розы. Приехали родители за ними – и ахнули! Еще краше девки стали, еще аппетитнее. Аж глазу больно – так хороши!

Бабка ничего родителям не сказала, как девки без спросу из дома по ночам бегали, как с танцев с кавалерами до утра «провожились». Как дрыхли до полудня. Только подумала, что на следующий год она с ними не сладит – сил не хватит. Напишет потом дочке, что хворает сильно. Пусть с девками в санаторию едут – при отце и матери они не облагут и головы не потеряют. А сейчас главное – чтобы в сохранности их передать. Ну, вроде за этим делом следила – по бельишку ихнему. А сердце все равно замирало – не дай бог что! Не простит ни дочь, ни зять строгий. Ох, да лучше про это не думать – страшно!

А как они съехали – вздохнула. Не по годам ей такие испытания, не по годам. И не по здоровью.

В первый раз Маруська влюбилась в пятнадцать – в школьного математика. Валюшка сестру за это презирала, посмеивалась над ней. Маруська три месяца отстрадала и позабыла про бородатого математика – влюбилась в артиста Юрия Соломина. Тут сестра уже не смеялась – артист был немислимой красоты. Только все равно – смешно в артистов влюбляться. Где ты, и где они! А Маруська обижалась и твердила, что найдет его адрес, подкараулит и объяснится в любви. Ну, и он, конечно, не устоит. И смешливая Маруся сама начинала смеяться: «А кто устоит, спрашивается? Перед такой-то красотой?» И, поворачиваясь перед зеркалом, надувая пухлые губы, кокетливо вопрошала: «Свет мой, зеркальце, скажи и всю правду доложи, я ль

на свете всех милее?..» Тут к зеркалу подбегала Валюшка и, отталкивая сестру, кричала: «Я! Я на свете всех милее, всех румяней и белее! А ты, – она шутливо толкала сестру в бок, – а ты, Маруся, всех жирнее, всех противней и дурнее!» Начиналась веселая потасовка, и по комнате летали подушки, любовно собранные бабушкой, роняя легкое деревенское утиное перо. Все продолжалось, пока мать не заходила в комнату и строго не приказывала дочкам «прийти в себя и сесть наконец за уроки, пока отец не вернулся с работы! А то будет вам... на орехи...».

Сердце у Ольги тревожно замирало... Хотя с чего бы? Растут девки. Взрослеют. И ничего вроде не происходит. Нормально все. Пока...

Но почему такая тоска?

Серьезный роман первой завела Валюшка. С соседом Валеркой Фроловым. Тот только пришел из армии – высоченный, здоровый. Бык, а не мужик. Стояли на лестничной площадке часами – Валерка смолил одну за другой, а Валюшка «присутствовала». Хихикала по-глупому – сама удивлялась, глаза тупила. Валерка рассказывал несмешные армейские анекдоты, травил заезженные байки и делал соседке неловкие комплименты. Перед приходом отца недовольная Ольга загоняла дочь домой – как упрямую корову хворостиной.

Валюшка отвечала:

– Сейчас! – И не трогалась с места.

Любопытная Маруся выглядывала в коридор и показывала сестрице язык, а ночью пытала ее:

– Ну, как там у вас? Целовались?

Валюшка посылала сестру подальше и в сладких грезах моментально засыпала.

А Валерка ее вскоре бросил – завел роман с парикмахершей Зойкой и сказал Валюшке: «Делать с тобой нечего – сопливая еще! Малолетка».

Валюшка прорыдала недели две, а потом про Валерку забыла – влюбилась в другого.

Маруся же теперь любила артиста Андрея Миронова. Хоть и не такой красавец, как Юрий Соломин, зато «обаяния море!» – так говорила учительница по литературе.

Она даже караулила его у Театра сатиры после спектакля. Однажды повезло – увидела, как он садился в светлую «Волгу». Элегантный, в бежевых брюках и голубой водолазке. Правда, под руку он держал высокую блондинку на тонюсеньких острых шпильках, с высокой «бабеттой» и огромными, словно приклеенными, мохнатыми ресницами. «Бабетта» громко хихикала и одергивала узкую и короткую синюю юбочку. Через минуту они, взвизгнув тормозами, мгновенно сорвались с места и укатили – в прекрасную и незнакомую Марусяке загадочную жизнь. А она осталась на тротуаре – с раскрытым ртом и глупо хлопающими глазами – жалкая, расстроенная и униженная. И медленно побрела по улице – громко и обиженно всхлипывая.

Словно жизнь показала ей жирную и насмешливую фигу.

* * *

О том, что счастливая и прекрасная жизнь подходит к концу, Ольга поняла скоро. А вот супруг ее, Иван Иванович, довольно долго пребывал в счастливом неведении. Да и понятно – все, что только возможно, от него тщательно скрывалось. Например, девочки, зайдя в подъезд, тщательно стирали вазелином яркую косметику. Стягивали ажурные колготки и закручивали буйны локоны в стыдливую косу. Сигареты прятались под чугунную батарею на лестничной площадке и тщательно зажевывались лавровым листом. И в дом входили, скромно потупив глаза, тихие и прилежные дочери, просто сама невинность и стыдливость. Отец, как всякий ничего не подозревающий наивный человек (как, впрочем, и большинство счастливо и талантливо одураченных отцов), подвохов не замечал и замечать не собирался. Впрочем, не от лени или небрежности – все было шито-крыто, особенно для невнимательного и неопытного

мужского взгляда. Дневники, которые он подписывал, пока они учились в школе, закончились, Валентина училась на парикмахера (вот уж где отец откровенно страдал!), а Мария – на швею-мотористку. Ни одна из дочерей не пожелала продолжить славную династию строителей.

Иван искренне считал, что рабочей косточке не место у кресла «вихлять задом перед клиентами». Ольга горячо убеждала его, что любой труд почетен и труд парикмахера – в том числе. Она приводила множество разумных доводов в пользу того, что профессия эта делает женщин красивыми и уверенными в себе, что не такой это тяжелый труд по сравнению с трудом маляра-штукатура. И не такой, кстати, опасный – к сорока годам у Ольги разыгралась тяжелая аллергия на масляную краску и побелку. Да и вопрос заработка тоже не из последних. Иван горячо возражал – особенно когда речь заходила про заработки. Какие чаевые у рабочего человека? Чаевые у лакеев! А чтоб его дочь, да в лакеи...

Марусин выбор его так больно не ранил – швея, все-таки рабочий класс. Но обида на дочерей оставалась – кончились строители Кутеповы, не случилось знатной и уважаемой династии. Дуры бабы, москвички – одно слово.

Итак – школа закончилась, девки выросли, и Иван Кутепов свято верил, что главное в своей жизни он уже совершил – поставил детей, что называется, на ноги. Ну, или почти поставил. Теперь дело за малым – удачные браки, крепкие и счастливые, хорошие зятья – из наших, деревенских (дай-то бог). Ну, или из городских, но все таки своих – из здоровых трудовых семей. А там уж – дело за внуками. Пусть рожают девчонки богатырей или красавиц – как уж получится. А Иван Кутепов постареется – и с квартирой поможет, и деньгами. А Ольгуша с внучками посидит – с работы по причине нездоровья пора, увы, уходить. Да и ладно – отработала Ольга свое, пусть отдыхает. А он, Иван, семью прокормит, как всякий нормальный мужик. Иногда, глядя на часы, он растерянно спрашивал у жены:

– А где девки, Ольгуша?

Ольга отвечала, что задерживаются – то на занятиях, то на вечеринках в училище. «Молодые, Вань, когда и погулять-то, если не сейчас?» Иван слегка нервничал, но быстро успокаивался – жене он доверял безгранично. Ольгуша спокойна – значит, нет причин волноваться и ему! И засыпал крепким сном рабочего человека. А Ольга не спала... Стояла часами у окна и вглядывалась в темную муть улицы. Сердце замирало от тревоги и тоски. И еще – от страха. Только бы Ваня не проснулся. Но Ваня спал – блаженным сном ни о чем не подозревающего человека.

Пару раз «дочушки» приходили подшофе – Ольга из комнаты не выходила, боясь потревожить мужа, но по звукам падающих предметов понимала, в чем дело. Разумеется, пыталась с дочерьми разговаривать. По душам не получалось: девицы все отрицали и безбожно и опытно врали – то день рождения у подруги, то вечер встреч в школе, то успешно сданные экзамены.

– До беды доведете, – жарко шептала мать, – до греха! Жизнь поломаете – и себе и всем.

Сестры, как всегда, дружно, хотя и вяловато, пытались успокоить мать и слегка оправдаться.

Пару раз, доведенная до полного отчаяния, Ольга подумывала о том, чтобы посвятить в происходящее мужа. Но откладывала, боялась за его здоровье – мужики-то существа нервные, да и возраст у Ивана тревожный, вон от инфарктов мрут как мухи. И за себя боялась – что и говорить! Обвинит, что запустила, врал, скрывала. Боялась семейных скандалов и разборок – нрав у Вани горячий. Не дай бог попасться под горячую руку! И еще – надеялась, что как-нибудь... Как-нибудь рассосется, исправится, переменится... Ну встретят девки хороших парней! И – в загс. С фатой, белым платьем – все как положено. Как у людей. Образуется, дай бог! И будет у них в семье снова покой и радость – как раньше, в прошлой жизни... Когда все вместе, рука об руку и друг за друга.

А разве может быть у них по-другому?

* * *

Оказалось, может. Очень даже может. Увы...

Когда Валентина впервые ушла из дому, скрыть это от Ивана было уже невозможно. И байки придумывать тоже. Ушла Валька к любовнику, сорокапятилетнему директору треста столовых, пузатому, заросшему буйным курчавым волосом Виталию Ильичу. Русский по крови, нрава он был безумного, восточного и ревновал красавицу Вальку по-страшному. Было достаточно одного ее взгляда, вполне, кстати, невинного, в сторону какого-нибудь мужчины, как страстный любовник хватал ее за руку и волок в противоположную сторону. А уж там получала она по полной – точнее, по мордасам.

Жизнь их крутилась вокруг кабаков – ежевечерний обязательный ритуал. Наливаясь дорогим коньяком, он обводил глазами столики с посетителями и обязательно находил врага – того, кто «пялится на его женщину». Потому, что его женщина – шалава. Кабак был знакомый, почти всегда один и тот же, и официанты знали, чем, скорее всего, закончится гулянка ревнивого дельца и его красавицы подруги. Никто не препятствовал – во-первых, бесполезно, а во-вторых, Виталий Ильич так лихо и щедро оплачивал ресторанные потери в виде разбитой посуды, зеркал и окон, что всем это было, в принципе, выгодно. Хотя и довольно хлопотно. Но стекольщик дядя Вася из соседнего ЖЭКа был всегда начеку, и через пару часов после отъезда «веселой парочки» новые стекла уже протирали уборщица Нинка. Все окупалось с лихвой, а уж списать разбитую посуду было делом несложным. Валентина смотрела на драку с безразличным видом и никогда не препятствовала – покуривала себе, стряхивая пепел в бокал с шампанским.

Когда могучий швейцар, бывший майор, наконец оттаскивал ревнивца от очередной ни в чем не повинной жертвы, Валентина лениво и медленно вставала, поправляла прическу, облизывала ярко накрашенные губы и медленно, с расстановочкой, плавно покачивая роскошными бедрами, затянутыми в узкое платье, двигалась к расprostертому на полу или уже сидящему на стуле окровавленному любовнику.

Подойдя совсем близко и чуть прищулив прекрасные цыганские глаза, спокойно и с достоинством вопрошала:

– Ну что, доволен?

И так же медленно, вразвалочку направлялась на выход, к гардеробу. Там услужливый хромоногий гардеробщик Степан лихо и шустро накидывал на ее прекрасные точеные плечи короткую норковую шубку или кожаный, блестящий, как масло, плащ – по сезону – и торжественно открывал тяжелую парадную дверь:

– Спасибо за ласку, Валентина Ивановна! Ждем вас снова – как всегда!

Она, ничего, разумеется, не отвечая, хмурилась и выходила на улицу. Глубоко вдохнув свежего воздуха, снова закуривала и молча смотрела в одну точку – ожидая скорого выхода возлюбленного. Он появлялся минут через двадцать – виноватый, с отеком или фингалом на крупном, красивом и породистом лице, пытался что-то промямлить в свое оправдание – на что она резко его пресекала: «Да хватит уже!» И требовала быстрее ловить машину – замерзла тут, ожидаючи. Он бросался к мостовой и быстро, без торговли, сговаривался о маршруте. Ему не отказывали, понимая, что заплатит он щедро – *такие* всегда платили хорошо. Они молча ехали в машине, и виноватый любовник нежно, но крепко держал Валентину за руку. Машина останавливалась у невзрачного дома на Шаболовке – там он «держал» квартиру для любовницы – просторную, двухкомнатную, обставленную по его «притязательному» вкусу: румынская добротная мебель, тяжелые бархатные гардины и множество хрустальных светильников. Он любил яркий синтетический свет, в котором хорошо видна была молодая Валентина красота – любуйся сколько хочешь! Твое. Уплачено.

Валентина не спеша раздевалась, а он, удобно усевшись в кресле, смотрел на нее тяжелым и все еще пьяным взором – довольным и сытым: мое! Она шла в душ, а затем в спальню с такой же добротной и массивной мебелью, а он, окончательно разгорячившись, резко снимался с места и с почти звериным рыком врывался к ней. Валентина чуть-чуть, совсем незаметно, морщилась и закрывала глаза. Все, что происходило потом, ей, честно признаться, очень и очень нравилось. И грубые ласки его и бранные слова ее совсем не смущали. Иногда он ночевал, грузно раскинувшись на широкой кровати и громко, трубно храпя. Иногда – уходил. И она совсем не переживала, точно зная свое место – у ее любовника была семья, жена и две дочери. Даже радовалась, когда он срывался домой – выспаться можно от души, без посторонних звуков и назойливых утренних ласк.

Утром Валентина долго спала, потом стояла под душем, спокойно завтракала – холодильник был всегда забит доверху самым отменным дефицитом. После обеда снова ложилась – уже подремать, полистать журнальчик или посмотреть кинцо по телевизору. Иногда протирала пыль и перебирала свой обновленный и обширный гардероб. Больше делать было нечего – только ждать вечера и настойчивого звонка в дверь.

Раза три в неделю забегала Маруся. Жадно оглядывала квартиру, всегда, словно в первый раз, удивляясь богатству. Щупала сестрины платья и кофты, красила ногти новым импортным лаком и залезала в холодильник – всегда голодная, готовая «съесть быка».

Валентина покуривала и посмеивалась:

– Жри, пока дают. Только смотри, скоро в дверь не войдешь!

Про родителей Валентина не спрашивала – Марусяка триндела сама:

– Мать болеет, стареет, грустит. Папаша – вообще... Как с цепи сорвался! Тебе хорошо, – говорила она ноющим голосом, – свалила, и нате! А я... За тебя огребаю! Отец требует, чтобы из училища домой. По часам отслеживает! Достал дальше некуда.

Валентина пожимала плечами:

– А я-то тут при чем? Не нравится – съезжай. Взрослая уже. Сама себе хозяйка.

– Куда? – пугалась Маша.

– Коту под муда! – зло бросала Валентина и разговор прекращала.

На вопрос сестры, любит ли она своего любовника, громко хмыкала и отвечала:

– Обожаю! Жить без него не могу! – И грустно добавляла: – Дура!

Нет, конечно, не так она представляла себе прекрасную и счастливую семейную жизнь. Не так. Но и не так, как у мамки с папкой – пахать всю жизнь как бобики, и чего? Что они видели в своей нелепой жизни? Санатории сраные с гречневой кашей? Коровник в деревне? Сапоги да валенки? А, радостный и счастливый труд! Во имя, так сказать, социалистической родины? Родного государства и партии? Да гори оно все огнем! Пахали всю жизнь и «выпахали» – мама астму, а папаша гипертонию и еще пенсию в сто тридцать рублей. Ах да! Участок в шесть соток на торфяном болоте в Шатуре! И хижину дяди Тома – хибару пять на шесть! Вот радость-то, прости господи. Не хочет она такой жизни! Не хочет!

Правда, и эта... Зато – без забот! Сытая и веселая – ну почти... И тряпок вон импортных целый шкаф. За всю жизнь столько бы не заработала... И золота целый ларь. Плохо?

* * *

Маруся сестре завидовала – не тряпкам, нет. И не квартире с богатой мебелью. Свободе она завидовала, вот чему. Что мать не смотрит вечно грустными, словно больными, глазами. Что отец не глядит как на врага народа, – отпустить подол юбки, снять каблуки, что за прическа? А уж про косметику и говорить нечего. Да не самое главное это. Главное, что отец в них разочаровался. Не принимает их (про Валентину и говорить нечего – однажды сказал, как отрезал: «Нет у меня такой дочки. Умерла»). «Ведет образ жизни несоветского человека». А в

чем, спрашивается, эта несоветскость? В том, что хочется быть молодой и красивой? Носить яркие вещи, колечки, цепочки? Красить ресницы и губы, бегать на танцы, есть мороженое в кафе? Пить шампанское? Да уж! Советский человек должен вкалывать с утра до вечера, носить жесткую обувь фирмы «Скорород», платье из ацетатного шелка старушечьей расцветки, заплетать до старости косу и гордиться естественной красотой. Да! Еще выйти лет в двадцать замуж – за рабочего, разумеется, парня в жесткой робе и с радостной, щербатой, во весь рот улыбкой – и начать рожать детей, подряд и сразу. По воскресеньям ходить к родителям на семейные обеды, выслушивать нравоучения отца, помогать матери мыть посуду и следить за тем, чтобы благоверный «не перебрал» – тяжело тащить на себе до дому. Дальше – считать копейки до получки, лучшие годы прожить в коммуналке со сварливыми и пьющими соседями, штопать колготки, задыхаться от запахов соседских щей, отстаивать очереди за колбасой, проводить отпуск у родни в деревне, где все почти так же, как на коммунальной кухне, только грязь по колено, зеленые мухи и сортир во дворе.

Вот так? Вот так нужно проживать свою жизнь? Единственную, кстати! Нет, путь сестры Маше не совсем нравился. Точнее – совсем не нравился. И не нравился Валентинин сожитель. Конечно, хотелось молодого, красивого. Остроумного, делового и небедного.

Есть такие? Да конечно же есть! Только вот... Не про нашу, как говорится, честь.

Такие учатся в МГИМО и в инязе. Родители *таких* дипломаты, которые не вылезают из заграницы, или военные при больших, генеральских, чинах. Или академики и ученые. Или известные актеры, режиссеры, художники.

Но! Вот тут – внимание! Девочки из рабочих семей – парикмахерши и швей-мотористки, штукатуры, укладчицы, продавщицы и воспитательницы детских садов – им не нужны! Не их, что называется, товар. Не их профиль. Золушки бывают только в сказках. А в реальности – у них свои красавицы: в МГИМО, инязе, Университете, в Доме кино, Доме архитектора, журналиста и ученого. В модных кафе и на закрытых просмотрах. Внучки генералов и академиков, дочери режиссеров и дипломатов. У них свой круг, своя каста.

И что остается молодой, красивой и неглупой девушке без пропуска в красивую жизнь? Жалкие потуги выглядеть – модно, стильно, свободно, *доставать*, переплачивая из своих жалких грошей, польские платья, чешские туфли, болгарские духи, прибалтийские трусики. Кафе на окраинах с несвежими скатертями, киношки, танцульки. И там – только там! – искать себе спутника. Свое счастье. Ну а где же еще? Не на камвольном же комбинате, где мужиков – раз, два и обчелся: пара наладчиков, начальник цеха, вахтер да водитель директора. Да и те – кто алкаш, а кто в ожидании подарка от профсоюза – часов «Полет» по случаю выхода на пенсию.

И замуж Маруся не хотела – как посмотрит на мать, сразу желание и пропадает. И от крикливых младенцев ее воротило – от рассказов про пеленки, соски и постоянные сопли. И комбинат свой она ненавидела – от всей души. Запах пыли и полотна, стрекот швейных машинок, сопливый столовский кисель, жесткие холодные котлеты с серыми, слипшимися макаронами. Профсоюзный комитет, комсомольские собрания, синий рабочий халат и белую косынку – все ненавидела! Так страстно и так крепко, что слезы из глаз.

А дома было еще хуже – не приведи господи! Мать болела, кашляла, задыхалась и постоянно плакала – тосковала по Вальке. Отец постарел и еще больше засуровел – говорить с ним стало совсем невозможно. Только претензии и оскорбления – за себя и за Вальку. В квартире как после похорон – тихо, тревожно, неуютно. Куда делась их беззаботная и счастливая жизнь? Ушла вслед за Валькой и захлопнула дверь.

А вот любви хотелось! Какая девушка не хочет любви? Мечталось о нем – молодом, стройном, кудрявом. В модных джинсах и светлом свитерке. С сигареткой в узких ироничных губах.

Намечтала! Именно такого – точь-в-точь. Как в самом сладком, девичьем сне... А познакомились банально – в кафе-мороженом на Горького. Сидели с Валентиной, ковыряясь в жестя-

ных вазочках с ванильно-абрикосовым, попивали несладкий кофеек. Валька первая заметила – кивнула острым подбородком:

– Смотри, какие хлопцы!

Хлопцы были хороши – стройные, модные. Один – блондин с голубыми глазами, в узких темно-синих джинсах – постоянно курил и кидал равнодушные взгляды на девушек. Второй, попивая шампанское, рассказывал, видимо, что-то смешное, и это самого его страшно веселило. А вот приятель его, тот, голубоглазый и равнодушный, чуть кривил уголки красивого, крупного, четко очерченного рта.

– Не пялся, – строго приказала сестре Валентина и, закинув стройную ногу в темном чулке, картинно выпустила изо рта узкую струйку дыма. – Фарца, – тут же определила она. – Этот, в джинсах, точно! А второго – видела я его где-то. Зовут, по-моему, Арик.

– А блондин? – Маруся нервно облизала верхнюю губу. – Приятеля его знаешь?

– Да вроде нет, не припомню.

Не ошиблась – того и вправду звали Арик, и был он известный центровой «ломщик». Пробивался у валютных и «Интуриста». Второго, того самого блондина, Валентина не опознала. Был он из той же команды. Фарцевал у магазина на Беговой чем попало, не чурался ничего, что приносило бы доход и красивую жизнь. Еще его знали на ипподроме – там он тоже был своим человеком. Опытным прожженным букмекером. Жил он на съемной квартире там же, в районе Беговой, – рядом работа, ипподром и толкучка, и во дворе стояли его новенькие, заработанные всего за полгода неприличного канареечного цвета «Жигули».

Родители его, кстати, скромные рабочие, простые люди, жили в подмосковном Ногинске, абсолютно уверенные, что их любимый и единственный драгоценный сынок успешно постигает науку в Институте инженеров транспорта, стремясь поскорее его окончить и получить гордое звание советского инженера.

Звали его Владислав Волков. Но называли все Владик Волк. Фамилия очень и очень соответствовала Владиковой звериной, ушлой, осторожной и цепкой натуре.

Он кинул взгляд на сестер и небрежно бросил другу:

– Ничего телки! А как тебе?

Арик, озабоченный негаснущей страстью к официантке из «Националя» Милке, неверной и продажной (вот сука!) зеленоглазой брюнетке с бюстом шестого размера, бросил на девиц равнодушный и пустой взгляд.

– Да деревня какая-то. Темная – тощая, сухая. Треска. А белобрысая... Матрешка, блин! Хор Пятницкого. – И, видимо вспомнив коварную и прекрасную Милку, сразу погрузнел.

– Придуток, – качнул головой блондин, – чистый придуток! Та, блондинистая, вылитая Мэрилин Монро. Ты приглядишься только! Губы, глаза, ноги! А сиськи какие! Нет, ты обернись, – настаивал он.

Арик повернулся, нагло разглядывая девиц, и пожал плечами.

– Монро! Скажешь тоже. Ей до Монро, как мне... до Штирлица. – Тут он задумался и почему-то оглянулся по сторонам. И, так ничего и не придумав, горестно вздохнув, одним залпом выпил полный бокал шампанского.

– Дурак, – повторил приятель, – всегда говорил, что ты дурак. Ни черта не смыслишь! Ее только подстричь. Даже красить не надо. И еще – прикинуть. Цацки, тряпки, шузы. Не телка будет – кинозвезда. Все обзавидуются. И не потрепанная, свежая. Краснеет вон! – Он усмехнулся. – Надоели все эти бабы – ну, те, что рядом по жизни. В глазах только бабки, бабки и ничего больше. Подсчет ежеминутный. Тоска. Одна мысль – как развести любовников. Нет, тут поработать немного...

– И охота тебе? – Арик покачал головой и пожал плечами. – Вон сколько их. Только свистни! – А потом, обведя равнодушными глазами зал, добавил: – Даже свистеть не надо. Сами прибегут и еще спасибо скажут.

Волк рассмеялся и уточнил:

– За что?

– Прикидываешься? – усмехнулся дружок. – Да за то, что ты просто внимание на нее обратил!

Тот кивнул и согласился.

– Ну да. Разумеется. А то мы не знаем!

Все ему удавалось в жизни – так искренне считал он сам и все остальные. Он – из породы везунчиков. Красавчиков и везунчиков. Редкое свойство.

Девушки засобирались уходить, и тут блондин, слегка крикнув, поднялся с места и подошел к их столику.

– Потанцуем? – осклабился он.

– Потанцуй, – согласилась брюнетка. – И, усмехнувшись, добавила: – Самостоятельно. Вдруг получится!

А блондинка, доморошенная Мэрилин, залилась сплошным и густым румянцем.

– Молодец, – кивнул он, – сечешь фишку. Только вот это зря. Я без понтов, с открытым и чистым сердцем!

– Ага, – усмехнулась Валентина, – знаем мы вас с открытым сердцем. И дружка твоего видали. – Она обошла блондина и кивнула спутнице: – Шевелись!

Та засемила следом за бойкой подругой.

Брюнетка скрылась в туалетной комнате.

Уязвленный отказом, Волк двинулся следом. У гардероба, где блондинка смущенно натягивала скучный и серый плащ, он взял ее за руку и нежно шепнул:

– Не слушайте ее! И в искренности моей не сомневайтесь. Давайте встретимся вечером. Ну, у Большого театра, например?

«Мэрилин» кивнула, нервно оглядываясь по сторонам. Блондин поцеловал ей руку и испарился – словно его и не было.

Хмурая Валентина молча вышла на улицу. Маруся поспешила за ней.

– Ну и чего ты завелась? – спросила она сестру. – Вот что тут такого? Прикадрился парень. Тебе-то что? Завидно, что ли?

Валентина замедлила быстрый шаг, остановилась и посмотрела на сестру.

– Ты дура или как? Ты что, не понимаешь, что это за люди? Арик этот... И его дружок! Арик в ментовке свой человек. Возле иностранцев крутится – в «Национале», в «Белграде». Дипломатов «ломает». Знаешь, что это?

Маша покачала головой.

– Вот и я о том же! – резко сказала сестра. – Ход у них такой. Ни за что не засечешь! Берет валюту – типа, купить. Ловко так пересчитывает – «ломает» – и искренне удивляется: сотни или двух не хватает. Недодали, ошиблись, просчитались. А эта сотня уже у него в кулаке зажата. Чистый навар. Люди, может, и сомневаются, а к ментам не пойдут, потому что торговля валютой – статья. И еще поди докажи! Вот и попадаются разные лохи – командированные и туристы. А еще там все стучат, понимаешь? Если за жопу их не берут, значит, точно – стучат. И фарца, и проститутки. И ломщики эти. Мир этот, знаешь ли... до добра не доведет. Ты уж мне поверь!

– Ну и что? – не поняла сестра. – А я-то тут при чем? С какого боку?

– Да с такого! – крикнула Валентина. – Ты что, на фабрику будешь ходить, пока он у гостиниц «уютжит»? А вечером ужин и в теплую койку? Так, что ли? Детишек ему родишь? К родителям будете по воскресеньям? Он будет с папашей футбольные матчи обсуждать и мамыны пироги нахваливать? Думаешь, так?

Маруся молчала.

– Я и говорю – дура! Жизнь у них другая, понимаешь? Совсем другая! И та, о которой ты мечтаешь, ему до фонаря! Он убежал от такой жизни! И от родителей своих убежал. Чтобы к твоим приходил, что ли? И семья ему не нужна, и дети. И котлеты твои с макаронами – они каждый день в кабаках обедают. И ужинают тоже. И баба им нужна для картинки – прийти, прошвырнуться, поехать в Сочи, на море. Показать друзьям, похвастаться. В постели покувыркаться. Надоест – гудбай! Потому что нужна новая, свежая, неизвестная. Ну, теперь поняла? И на аборты будешь бегать, как на свидания – без передыху. Потому что эгоисты они! Сволочи и потребители! Ясно тебе?

Маруся нахмурила брови.

– Ну, не тебе говорить. И не тебе учить. Сама-то...

– Вот именно! – с жаром подхватила Валентина. – Вот поэтому и не хочу, чтобы ты... И чтобы тебя – как поломанную куклу на помойку!

Она развернулась и пошла быстрым шагом к метро. Маруся смотрела ей вслед. Потом бросила взгляд на часы на Главпочтамте и побежала к метро – надо успеть домой, вымыть голову, обновить маникюр, одеться понаряднее. И... в восемь у нее свидание! У Большого театра. У четвертой колонны. С самым прекрасным мужчиной на свете!

А про сестру подумала: «Завидует! Сидит в своей золотой клетке, фингалы Виталькины дермаколом замазывает. И ждет своего борова волосатого. Фу! Вот я бы... ни за что и никогда!»

Когда она подошла к Большому, он уже стоял у колонны и крутил в руке одинокую белую розу. Увидев ее, усмехнулся уголком красивого и упрямого рта и принялся рассматривать – бесстыдно и откровенно, так, что она сбилась с ноги и снова залилась бордовым румянцем.

В тот первый вечер они долго сидели в кафе на Горького, пили коктейль «Шампань-коблер», вкусный до невозможности, ели мороженое и эклеры, и он, смеясь, признавался ей, что страшный сластена и за кусок торта готов на все – даже родину продать.

Она испугалась, а он рассмеялся – шутка. Потом они бродили по городу, сидели на лавочках, снова шатались, и он рассказывал ей про чудесные страны и чудесную жизнь – там, за границей. Про Париж, например. Или Рим.

Она удивлялась – как много он знает! И про музеи, и про магазины. И про архитектуру – дворцы и замки. Про иностранные машины, про марки (лейблы) заграничных тряпок. Про все, о чем раньше она и слухом не слыхивала. Еще он говорил – с неподдельной тоской, – что жизни «здесь нет». Не только приличных машин и тряпок, а вообще – *жизни*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.